

## ВПЕЧАТЛЕНИЯ

*Литературный  
альманах*

№ 3

## СОДЕРЖАНИЕ

### *ПОЭЗИЯ*

Павел Шаров. **Стихотворения**.....

### *ПРОЗА*

Виктор Политов. **Рассказы**.....

### *ПОЭЗИЯ*

Вячеслав Морковин. «**Строфы белых холмов**». Стихотворения.....

### *ПРОЗА*

Виктор Бирюлин. **Возможность горизонта**. Эссе.....

### *ПОЭЗИЯ*

Андрей Сокульский. **О любви**. Стихотворения.....

### *ПРОЗА*

Я. Удин. **Три затравки и рассказ**.....

### *ПОЭЗИЯ*

Марина Бирюкова. **Стихотворения**.....

### *ПРОЗА*

Валерий Володин. **Рассказы**.....

Юрий Никитин. **Исповедь старого очкарика**. Рассказ.....

### *ПОЭЗИЯ*

Мария Борухова. **Стихотворения**.....

### *ПРОЗА*

Валерий Кремер. **Миниатюры**.....

### *ПУБЛИЦИСТИКА*

Иван Васильцов. «**И кто-то камень положил...**». Заметки.....

*ПОЭЗИЯ*

**Павел Шаров**

## СТИХОТВОРЕНИЯ

\*\*\*

Здесь, на горе Соколовой, домишко теснится  
к домишку,  
чуть выше – мусульманский погост.

Хватишь лишку,  
и кажется, что до звёзд

рукою подать, а к серпу полумесяца  
приставлена лестница –  
хоть сейчас полезай, закричи: «Кар-раул!»,  
разбуди весь аул.

А какой «караул-карачун»? Это просто  
ты живёшь в двух шагах от погоста,  
где, закутаны в саван, сидят мертвецы –  
деды, прадеды и отцы

здешних жителей, аборигенов.  
Ты из теста иного, состав твоих генов  
русско-польско-хохляцкий, и ты здесь чужой,  
отделён ты незримой межой

от домишек – окошко глядится в окошко,  
и на каждом герань и татарская кошка.  
...Мусульманский погост – тишина и покой,  
можно звёзды и месяц потрогать рукой.

\*\*\*

Прощай, июль, мой друг, прощай, макушка лета.  
Пошли на убыль дни, счастливого билета  
не выпало, увы, но жизнь горит во мне,  
я чувствую её в сердечной глубине.

Что здесь? Лишь слабый блик. Достать бы  
из-под спуда  
мне жизнь, явить на свет – а вдруг случится чудо?  
Но понимаешь вдруг, в смятенье и тоске,  
что тотчас ты умрёшь, как рыба на песке.

Прощай, июль, мой брат. Что делать с тайной  
грустью?  
Покинул ты меня, душа все ближе к устью.  
Вернуться б я хотел туда, где мой исток,  
но если ты сверчок, то должен знать шесток.

Прости-прощай, июль. Обнимемся, товарищ.  
Уж август при дверях, и жизни не поправишь.  
Как жаль, что не могу я надышаться впрок.

А жизнь – неведом нам закон её и срок.

\*\*\*

Небо цвета аквамарина. Сверху перистая перина  
облаков – её стлали руки моей бабушки.

Дети, внуки –

все мы спали на ней, и снами всё, что в жизни  
случилось с нами,  
предначертано было свыше. Я сегодня из дома вышел

покурить на крыльцо – увидел тот нездешний  
небесный выдел,  
и в груди оттаяло что-то, будто мне отворили ворота

и во двор провели, обняли и к столу подвели... Не я ли  
вас не помнил годами, вы же не забыли меня –  
я выжил

твоей памятью, род мой русский и украинский...

Вот закуски,

вот горилка – и все мы в белом: стол накрыт наш  
под артобстрелом.

Как поделишь любовь сыновью – кровь днепровскую  
с волжской кровью.

\*\*\*

Заведомо ложный шаг  
ты делаешь раз за разом.  
Ты сам себе – первый враг.  
Зашёл скудный ум за разум,  
совсем заплелись мозги  
в немыслимый Гордиев узел.  
Хотя бы себе не лги –  
ты сам горизонт свой сузил.  
Как поступь твоя тяжела,  
на бойню бредёшь обречённо.  
А сколько в душе твоей зла  
и зависти лютой, черной.  
Опомнись! Вернись к себе.  
Не злись, а смиренно веруй.  
В бесплодной тупой борьбе

ты гонишься за химерой.  
 Обман, всё обман. Но есть  
 штрихи и детали – слышишь,  
 как дождь барабанит о жесть,  
 как тихо скребутся мыши.  
 Беззвучно растет трава.  
 Умрут и родятся сегодня –  
 о сколько их! Ибо права  
 лишь жизнь – это слава Господня.  
 Ты жив. Что есть мочи – дыши!  
 И будь благодарен, не сетуй.  
 За Волгой – не то, что за Летой:  
 в протоках шумят камыши,  
 ты в лодке – таскай окуней.  
 Ах, август, пора звездопада.  
 Мир Божий прекрасен – не надо  
 стремиться в Царство теней.  
 Никто не вернётся вовек,  
 как то удалось Одиссею.  
 Я жизни прожить одиссею  
 хочу не как царь – человек.

\*\*\*

Просыпаюсь в четвертом часу,  
 удерживая на весу  
 хрупкое равновесье  
 меж явью и сном. Что же будет со мной? –  
 хочу я узнать и постичь мир иной.  
 Пока и не там и не здесь я.

Темень за окнами – глаз коли.  
 Кажется, если воскликнуть «пли!» –  
 сразу раздастся выстрел,  
 и затрепещет лесной гарнизон  
 лиственной массой, пока горизонт  
 не выбросит солнца вымпел.

Холодные зори стоят в сентябре –  
 месяце буковки А в букваре,  
 месяце первых оценок  
 в классном журнале и в дневниках,  
 образов свежих в черновиках:  
 глаз по-осеннему цепок.

«Марш в школу!» – мы с детства готовим солдат.  
 И вот марширует вчерашний детсад –  
 заплечные ранцы, уроки.  
 ...И детская кукла, попавши в «котел»,  
 бредет вдоль сожжённых украинских сел –  
 потери на юго-востоке.

\*\*\*

...а по моей земле прут натовские танки,  
 там, где я был крещён, хозяйничают янки.  
 Четырнадцатый год – и Третья Мировая.  
 Ты знал ли, прадед мой, на Первой умирая,  
 что через сотню лет твой правнук и наследник  
 не встанет под ружье, а будет днём последним  
 вести отчет, не спать, а дочь твоя Мария  
 и бабушка моя, едва дождусь зари я,  
 опять придёт ко мне – внучонка городского  
 накормит, помолчит и снова спросит, снова:  
 «А будет ли война?»... На мужа похоронка  
 за Спасом – и семь ртов... Как заливался звонко  
 тот кочет на плетне, которого мы во щи!  
 Ты, как слепой телок, по жизни брёл наощупь  
 и понял, наконец, что ты пришёл на бойню.  
 Замкнулся круг в сто лет. «Закурим перед боем».  
 А петь я не могу, как тот безглавый петел,  
 взлетевший на плетень. Кругом зола да ветер.

\*\*\*

1.

Отравлен палёною водкой дня  
 ты уснул мертвецки и встал разбитый –  
 бес во сне отмудохал бейсбольною битой.  
 Ты не ведаешь, для  
 чего ты живёшь. Тщетно ищешь опоры.  
 Ты пустой изнутри. Ты – полый.  
 Надуваешь себя сигаретной отравой.  
 смотришь в зеркало – ох, обезьян.  
 И скрипит шестерёнкой ржавой  
 на оси планета: во всём изъян.  
 Солнце мутное: еле сквозь вату  
 облаков угадаешь – а есть ли оно?  
 Все слова твои сводятся к мату –

тебе выбора не дано.  
 Сотворить молитву – нет духа.  
 Ну а дальше смердеть – для чего?  
 Неужели эта непруха  
 навсегда? До чего же черно  
 на душе... Где же, Господи, выход –  
 был же вход. Или всё мираж?  
 Вот сейчас я сделаю выдох,  
 следом вдох – посинею аж!  
 ...Я Тебе благодарен за самый  
 чёрный день – этот день настал.  
 Я могу говорить только с мамой,  
 и, прости меня, Господи, я устал.  
 Я запутался в жизни нетях,  
 изнутри меня жрёт паук.  
 Я когда-то мечтал о детях  
 и мечтал, чтобы был мой внук  
 на меня похож. А теперь так гадко,  
 стыдно, горько, и жизни – нет.  
 Так о чём же была загадка,  
 и какой на неё ответ?

## 2.

По Вольскому тракту уйти на Базарный  
 Карабулак и дойти до Адоевщины (сколько бы дней  
 это не заняло) – ты, пустой и бездарный,  
 обретёшь свой дар только в ней.  
 Дома прадеда как не бывало, а на кладбище  
 не найти ни одной могильной плиты,  
 нет ни церкви, ни школы. Но тот, кто забвенья  
 не ищет,  
 тот обрящет. Обрёл, наконец, и ты  
 тот же лес, тот же пруд, тот же воздух и речку,  
 вспомнил всё, что было с тобою, – свой детский  
 рай.  
 В доме бабушки (он не заперт и брошен) залез  
 на печку  
 и подумал: «Господи, забирай  
 и меня, я хочу видеть предков – я их наследник.  
 Как я рад, что добрался сюда наконец!  
 Здесь родились сестра и шесть братьев –  
 последний,  
 тот, что Пётр, это мой отец.  
 Он уже пятнадцать лет как покойник,

а я столько должен ему сказать!  
 Может быть, ему будет немного спокойней,  
 только вот на кого я оставлю мать?!»  
 Ты лежишь на печи – и вприпрыжку бежит  
 твоё детство.

И, казалось, худой и затёртый до дыр  
 во всей славе предстал Божий мир –  
 золотое святое наследство.

\*\*\*

В бесснежном декабре, душа моя, замри  
 и вспомни о былом – как с ночи до зари  
 мы пили крепкий чай и рифмы друг за другом  
 слетали с языка. Теперь же как за плугом  
 идёшь по целине: поднять словесный пласт,  
 найти хоть пару строк, а после – как Бог даст.  
 В бесснежном декабре по горло немотою  
 ты полон, сокол мой. Проходят чередою  
 за днями дни – ты ждёшь, когда проснётся речь.  
 Царевна спит в гробу, а ты её стеречь  
 приставлен – может быть, до ангельской побудки,  
 а может, до весны. Представь, что через сутки  
 она очнётся вдруг – никто её в уста  
 не будет целовать, и с белого листа  
 начнётся жизнь твоя... Немотствует природа  
 в бесснежном декабре. Труднее год от года  
 даётся мне зима: воды набравши в рот,  
 я терпеливо жду, когда Солнцеворот  
 наступит наконец и свет по чайной ложке,  
 но будет прибывать, а с ним исчезнут кошки,  
 что на душе скребут, и я шагну за грань –  
 из тьмы на свет, для слов освободив гортань.

\*\*\*

1.

Заря догорела. Ты зябко плечом  
 поводишь и хочешь понять, ну о чём  
 припело сказать с чувством, с толком,  
 и с расстановкой – о колком  
 воздухе декабря:  
 не вечерняя зорька, заря  
 спотухала – нитэ заря, ой да тройка

серо-пегих... А сердце-то – ой, как! –  
 вдруг заныло... Казалось бы, ну и шут  
 бы с ней, с этой песней, но «тройка» – маршрут  
 от окраины к центру, длина его в сорок  
 с лишним лет – до чего же он долог. Как дорог!  
 Три копейки – пятнадцать рублей, а вся жизнь  
 кочевая – она в промежутке... Держись  
 ты за поручень крепче – тебе до конечной  
 в гости к маме... Однажды во Млечный  
 превратится трамвайный, цыганский путь –  
 ты про ту зарю не забудь!

## 2.

Мой табор жизни, под всхлипы скрипок  
 ушёл ты в небо с тележным скрипом.  
 Ах, звон гитары! ах, бубна ритм!  
 Мой конь споткнулся – и не до рифм,

не до стихов мне: откочевали  
 все, кто мне дорог, – я на привале  
 их не застаю: ушли за край,  
 а мне не светит дорога в рай.

Костры погасли. Умолкли песни.  
 Мой табор жизни, вернись, воскресни!  
 Приспело время лихих годин.  
 Я в диком поле стою один.

Мой конь не может расправить крылья.  
 «Есть кто живой здесь?» Лишь степь ковыльях  
 на сотни тысяч – веков ли, верст.  
 И ни души нет до самых звёзд.

\*\*\*

Здесь два тополя, два фонаря желтолицых,  
 и ещё невозможно не вспомнить о птицах –  
 вот ворона, вот голубь, а вот воробьишко.  
 А мальчишка,  
 что играет в песочнице, это тот самый,  
 кто гуляет за ручку со старенькой мамой,  
 то есть я, из которого скоро песочек  
 будет сыпаться. Что, кроме строчек,  
 он оставит, и кто их прочтет, эти строчки?





*нестерпимо хочется реветь, а иногда стрелять, взрывать, ломать. И как люди не понимают, что нельзя оставлять человека одного».*

*Эта постоянная боль и ничем неистребимое чувство одиночества не отпускало Виктора Ивановича, как и всякого истинного художника, на протяжении всей жизни. И последнее его роковое решение добровольно уйти из жизни от этой же всепоглощающей боли и одиночества. Что ж, ничего не поделаешь, так иногда случается у подлинных художников. Он родился творцом и умер творцом, оставив нам шесть повестей, столько же рассказов и книжку стихов.*

Я. Удин

## **Виктор Политов**

### **РАССКАЗЫ**

#### **Мой маленький остров**

Я начал с того, что всё сжёг и постарался забыть. Это было нелегко, но я старался изо всех сил. А во сне я писал рассказ по-грузински. Очень остроумный, но утром я грузинского не знал и всё пропадало. Мне уже было двадцать пять, и я думал, что всё позади. Иногда я выпивал, и тогда мне было всё всё равно. Но потом становилось страшно и пусто. И это было до тех пор, пока я не начинал снова мечтать. У меня была очень скромная мечта – я хотел вернуться туда, на мой маленький остров.

Но один из нас уже умер. Он бы мог ещё пожить, но он уже умер. Маленький остров ещё не забыл его. Там всего шесть старых ольх и они очень долго помнят. И старая верба с голой сухой вершиной тоже очень долго помнит. А кукушка любит садиться на самую маковку этой облысевшей старухи и считать чьи-то годы. Может, она считала наши годы, и мои тоже, но мы не обращали на это внимания.

Стройные высокие ольхи немного качнулись в стороны и застыли. Когда я возвращался на остров, плавно пустив лодку по течению, то он всегда мне казался кораблём. Надёжным кораблём с распущенными зелёными парусами. Он плыл в вечность. Но тогда я этого не знал. Мой маленький остров перешёл ко мне по наследству от дедов и прадедов и прапрадедов. Тенистые плёсы, тёмно-зелёные ольхи и всё-всё здесь принадлежало мне. А когда я уговорил его пойти со мной – и ему тоже. Дон и Медведица рядом каждый год меняли свои русла. Только эта затенённая густыми ольхами речка оставалась прежней. Глубокие соминые ямы оставались на одном месте уже много лет подряд. И ольховый чёрный лист на дне делал воду чёрной и таинственной. На самом деле она была прозрачной, как слеза.

Когда на этот раз я удалился на свой остров. У меня ничего не было, кроме палатки и надежд. Без конца лили весенние холодные дожди, и

палатка стала волглой. Я спал прижав колени к подбородку, и дрожал. Можно было уйти, но я никуда не уходил. Днём пытался наловить рыбы, чтобы поесть. Рядом с палаткой наткнулся на утиное гнездо и восемь яиц. Дня три они лежали неприкаянными, потом я их съел. А когда совсем нечего было есть, я шёл за три километра на хутор и обедал у родственников. Они догадывались, что я голоден, но понятия не имели, как трудно стать писателем, поэтому я старался ходить к ним реже. Рыбы в речке плавало много, но я, оказывается, не умел рыбалить удочкой. И тогда меня научили местные рыболовы. Я расчистил багром дно, приспособив себе чью-то старую засидку на хилых тонких сошках, и сыпал приманку. По утрам и даже ночью начали браться неповоротливые лещи-старожилы. А до этого я протянул от острова к берегу и на живцовые крючки насадил уклею. Первый судак, полосатый и увесистый, меня обрадовал. И хоть ловилось два или три за день, я уже мог кормиться.

Потом я пришёл в город и рассказал ему про судаков, и лещей, и сазанов, которых я видел. Они поднимались погреться на солнышке, сверкая червонно-золотистой чешуёй, и на меня и мои удочки не обращали ни малейшего внимания. Я не хотел ничего привирать, но само собой всё получилось довольно красочно. Тогда он собрался и пошёл со мной.

Я знал, что ему понравился остров, и палатка на нём, и вокруг чёрная древняя вода. А когда мы поплыли не лодке, я показал на остров и сказал: «Как корабль». Он сразу согласился, потому что был поэтом. Он не был лириком. Его песни пела 62-я армия под Сталинградом, и навсегда в стихах остались танки и самолёты. Тракторы мирных лет тоже были танками, а он солдатом. Может, его стихи приносили очень много пользы. Ведь он писал и про передового тракториста, и про доярку, и про председателя колхоза. Люди его уважали, хотя иногда он и казался им странным. И нередко они подсмеивались над ним, потому что, по их мнению, он не умел жить. Они считали, раз поэт, издаются книжки, то у него денег куры не клюют. На самом деле он получал приличную военную пенсию, ушёл в запас в звании майора, у него была уютная квартирка, и никаких таких богатств. И ещё я помню, как он разбушевался в Сталинграде на площади Павших борцов. Какие-то мальчишки лужгали семечки возле самого пьедестала. Он пытался ударить одного, но я не дал и оттащил его. Они гоготали нам вслед, а он плакал. Мы пошли в ресторан и крепко выпили. Он читал за столиком стихи и заставлял меня читать свои. Я тоже читал. Он говорил, что я настоящий поэт, и только стоит встретить понимающего человека, как дела пойдут. Но человека такого почему-то не встречалось, и дела не шли. Правда, в районной газете довольно часто печатали мои стихи, и я числился районным поэтом, но они мне уже не нравились. Теперь я стараюсь их забыть.

А его уже нет. Потом не будет и тех, кто жил рядом с ним. Но теперь ему всё безразлично. Он даже не может придти на наш маленький остров и взять свою любимую удочку. Сиди себе и думай, о чём хочешь. Поплавок сидит колышком, а когда он вынырнет и ляжет на воду, можно подсекать. И лещ окажется совсем не в той стороне, в какой ты его ожидал. Очень всё

просто. Только не надо стараться стать поэтом. Ведь когда думаешь, получается много лучше, чем когда пишешь.

Я представляю нашу шаткую засидку, которая поднимается на метр от воды, мой старенький плащишко, на котором удобно лежать, и два поплавка. А от воды поднимаются лёгкие столбики тумана. Сверху старая верба свесила свои ветви и прикрывает нас. Как шатром. Солнце ещё не взошло. Разговаривать совсем не хочется. Тёмно-зелёные ольхи своими вершинами обрезали глубоко в воде кромку светлеющего неба. А прямо из-под веток выглядывает половина белой луны. Поплавки как живые. Они ещё не подвижны, но так воинственно воткнулись в воду, словно сами подстерегают рыбу. Думаешь закурить. И от этого много приятней, чем от самого курения. Так было. Но тогда нам казалось, что чего-то не хватало, хотелось большего, и мы, кажется, совсем не были довольны. Только иногда кто-нибудь, очнувшись, говорил: «Хорошо ведь, а?» И было правда хорошо. Всё обжито и принадлежало только нам. Даже вот та белая коряга и черепаха на ней. Это хорошо знакомая черепаха. Она почти незаметно объедала насадку с крючков.

Потом всё кончилось. И тихие летние вечера у костра, и сочная спелая клубника, которую мы рвали на берегу и с которой варили чай. Всё, всё... Я приехал на остров позже, и он уже был чужим. Прошлогодняя и позапрошлогодняя листва густо застелила место, где стояла палатка, и весь остров. А стол, который я смастерил и за которым старался стать поэтом, унесла пола вода.

Теперь я снова мечтаю вернуться туда и придумываю велосипед с моторчиком и резиновую лодку. Иногда мне кажется, что ни то, ни другое вернуться мне туда не поможет, и тогда мне становится грустно.

## Песня

Песня смолкла.

Давно я не слышал песни. Модные меня как-то не волнуют. Немало на моём веку сменилось всяких мод. А это была песня.

Я погнал лодку вверх по Дону к стану и увидел на обрыве девушку. Она сидела на самом краю, свесив ноги в джинсах, и безразлично глядела на мою лодку. Меня она попросту не видела. Её рука поднимала комочек ссохшегося ила и бросала в воду. Рука работала машинально и ритмично. Один комочек угодил в моё весло, но она и не заметила. Меня это задело. Я приткнул лодку берегом повыше и стал смотреть на неё. Рука всё поднималась и опускалась, как будто её кто завёл и она не может остановиться. Рука её нагоняла тоску. Я перевёл взгляд на воду. Ленивое медленное движение тоже нагоняло тоску. А в отражённом безобачном небе была такая же пустота, как в глазах девушки.

Трудно меня чем-нибудь удивить. Но я могу грустить, тосковать, радоваться. И мне не стыдно признаться, что на глаза навернулись слёзы,

когда я слушал её песню. И вдруг, сладострастно завывая, она начала кого-то звать: «Ну, позвони скорей!..» Телефоны над Доном в тополях никто не вешает, так что кричала она напрасно. Тогда я решительно оттолкнул лодку от берега и причалил прямо против того места, где она сидела. Сначала она не хотела меня замечать, изо всех сил не хотела. Но я бесцеремонно и почти в упор рассматривал её, что она смутилась, густо покраснела, перестала швырять в мою сторону комочки и резко оборвала свои завывания.

– Ты бы лучше спела ещё, - сказал я.

– А зачем? – и в её взгляде снова появилась пустота.

Да, действительно зачем? Ведь так легко загубить молодую человеческую душу.

– Ты местная?

– Да, сердито ответил девушка.

– С Отрожек?

– Да. – Подозрительно посмотрела на меня. – А откуда вы меня знаете?

– А сейчас живёшь в Волгограде?

– Да! Да! Да! Что вы ко мне пристали?

– Что ты здесь делаешь?

– Хочу утопиться.

– А зачем?

Она пожала плечами:

– Так... Надоело всё.

– А что всё-то?

– Всё! – решительно сказала девушка, встала и пошла вдоль обрыва.

Ей надоело всё. А песня осталась.

## **Свет звёзд**

Мир до того велик, что мне, маленькому человеку, в лодке немного жутко. Я вглядываюсь в необъятное звёздное небо, стараясь различить самые маленькие, сливающиеся друг с другом точки. Вон та – едва заметна простым глазом, а ведь, может, она в миллионы раз больше солнца. Или рядом. Их там!.. Особенно на Млечном Пути.

Звёзды покалывают мне глаза тоненькими струйками света и как бы говорят: «Видишь, как мы бесконечно далеки. Никогда ты, человек, не возмутишь нашего спокойствия. Это не для тебя. Живи на своей маленькой Земле, мечтай о неизведанном и недоступном, вступай в пререкание со всей Вселенной, но ты всё равно ничто по сравнению с вечностью».

И всё-таки я не верю звёздам. Где-то там, в чёрной бездне, уже несётся то, что сделано разумом и руками человека. Разум так же бесконечен, как и ты, Вселенная.

Мысленно я сажусь в кабину этого навеки оторванного от Земли корабля. Навстречу невиданным мирам, не похожим ни на что живым и разумным существам, уносит он меня. Бешеная, всепоглощающая скорость,

а мимо медленно, как дома на улице, проплывают планеты и целые миры. Да, человек!

В сети нервно задёргала большая рыбина. Я вздрогнул и очнулся. Мой напник несколько мгновений прислушивается к внушительному плеску, потом равнодушно говорит:

– Жерех. Попало бы их штук сорок.

Я ещё не совсем очнулся и молчу. Зачем загадывать? Мне тоже хочется, чтобы их попало штук сорок. Но нам всё равно будет мало. Человеку всегда мало. А нам, рыбакам, хочется, чтобы вся сеть была забита рыбой.

Но что все наши маленькие удачи и неудачи по сравнению с миром! Мир велик. И в нём наша маленькая земля. И река, которую почему-то назвали Дон. Я прислушиваюсь к звучанию знакомого мне с детства слова. Видимо, древний колокол впервые выговорил его: «Дон-н-н!»

А это – и холмистые обдонские степи, заливные луга, лес, озёра, хутора... И люди. Мой дед, жил, кажется, целую вечность назад. Он пахал чуть ли не сохой и на войне размахивал шашкой. А между прочим, он ещё крепкий старик. «Страшнее сабли – оружия нет. – Любил повторять он. – Смерть видно». Атомная бомба, наверное, пострашнее, но она как бы уже не в его времени, и он никогда не говорит о ней.

Вишь, Настя встала, должно, тесто подбивает, – Ермолаич смотрит на противоположный берег, где уже начинают загораться редкие огоньки. Через некоторое время огонёк померк, и Ермолаич заключил:

– Прилегла.

Я вдруг чувствую усталость и гнетущую опустошённость. Звёзды кажутся ещё холодней и недоступней, а земля мёртвой. Хочется закричать на весь мир: «Люди!» А звёзды равнодушно смотрят вниз. Это сама тоска миллиардами светлячков заглядывает в мои глаза.

Медленно плывёт лодка. Ермолаич то и дело засыпает и просыпается. Ему можно. Он привязал шнур от сети за ногу, а я должен всё время грести. Иногда я тоже как бы проваливаюсь в бездну, и лодка остаётся предоставленной самой себе. Она своевольно разворачивается носом к берегу и осторожно будит меня. Просыпаясь, я неестественно быстро начинаю шлёпать по воде вёслами, и мне кажется, что проспал долго-долго. Тревожно вглядываюсь в чёрно-серую стену берега, отыскивая знакомые приметы – коряги. Оказывается, проплыли мы не так и много. Ермолаич тоже стряхивает сон, чтоб ругнуться и закурить. Он кряхтит, поудобнее устраивается на корме, снова поминает свою Настю, а мне видны только огонёк папиросы да стёртые очертания его кряжистой фигуры.

Воздух становится густым. Даже видимый ночью противоположный берег утонул в нём. Звёзды пропали. Уже далеко вверх по течению, в хуторе, замычали коровы, начали звякать подойники. Там люди. У них свои заботы и дела.

Пора выбирать, – озабоченно вглядываясь в берег, говорит Ермолаич.

Ещё немного помедлив, мы начинаем выбирать сети.

Рассветает.

Никакие мысли о вечности и мировых пространствах уже не тревожат меня. Осталась одна Земля. Необъятная, окутанная туманом, она пробуждается, и всё на ней становится значительным.

И маленькая лодка становится достаточной для того, чтобы в ней проводить дни и ночи. А коротенькая человеческая жизнь настолько длинна, что вряд ли кто может увидеть свой конец.

### **Играли сазаны...**

Утром мы с Васькой долго шли по пескам, я устал, почти висел на плече, и не хотел дальше идти, но когда мне Васька всё это показал, я уже больше не мог этого забыть.

Мы ещё и не отвязали маленькую лодчонку, которая стояла в небольшом заливчике, чтобы ехать рыбалить, как тут началось. Сначала мы слышали где-то внизу по плёсу такой плеск, как будто там кто купается. Васька насторожился. Он тоже не знал, кто поднял плеск, мы ждали. Плеск разом стих. И вот опять. Тогда мы пошли вдоль берега над его крутизной, выглядывая осторожно из-за стволов ольхи и редких кустов. И вдруг увидели их. Они играли. Мы затаились, и они скрылись в глубине. Мы подумали, что они заметили нас и больше уже не появятся. Тогда мы потихоньку подошли к коряге, что лежала у берега, корень её ещё был в берегу, потом вода переливала белый, годами отполированный ствол, а дальше она горбом поднималась над водой. Дно здесь песчаное и чистое, и на фон белого песка мы увидели отчётливо и близко-близко. Их было штук восемь – десять. Они стояли парами друг за другом и слегка пошевеливали плавниками. И вдруг первый бросил своё тяжёлое, отливающее тёмным золотом тело через корягу, за ним второй, третий, и они образовали золотистый живой круг. Пока один летел через корягу, другой в воде уже подплывал под неё, третий занимал исходную позицию, четвёртый вылетал из воды. И так до бесконечности. И вдруг разом всё стихло. Они снова остановились под корягой.

Ни мне, ни Ваське не пришла в голову мысль. Что их можно поймать, убить, оглушить. И ружьё, и взрывчатка, а вернее, гранаты РГД, и запалы для тола с бикфордовыми шнурами, которые горят в воде, - всё это у нас дома было. Но нам даже такая мысль не пришла. Ведь они играли. Просто играли, так же, как мы, пацаны.

Конечно, ничего особенного мы в тот раз не поймали. Зато Малую Медведицу в это тихое летнее утро и играющих сазанов я запомнил на всю жизнь.

### **Ласка**

И вот не нынче – завтра Димка уедет насовсем в Сталинград. Всё уже распродал, что можно было распродать, остальное раздал соседям. До занятий остались считанные денёчки...

Мне грустно, грустно. Даже матёрый селезень, подвешенный сбоку, не радуется меня. Он как лёгкий укор совести: не поспеши я, уж Димка в него бы не промахнулся. И ещё у меня такое чувство, будто Димка уже уехал. И от этого мне не только грустно, а как-то сиротливо и одиноко.

Скрадок, который я когда-то смастерил под кустом белотала, весь развалился, возле кто-то бросил ещё добрую накрывалку. Круглую плетёную корзину без дна. Я смотрю на неё – сколько в ней заложено труда. Надо было нарезать эти тоненькие ровненькие прутики. Нарезать и заточить множество прямых колышков, всё это сплести, а потом взять и бросить. И то ли от этой брошенной накрывалки, то ли от развалившегося шалашика и вся-то Ширина кажется мне сейчас пустынной и заброшенной...

А пока я думаю, возле накрывалки столбиком встаёт ласка. Её длинное нежное тело, покрытое тёмно-серой шерсткой, слегка изгибается, покачивается. Передние короткие лапки висят у груди беспомощно и трогательно. Милая мордочка с тёмными бусинками глаз смотрит на меня лукаво, и мне кажется, даже насмешливо. Обычно при появлении чего-либо живого в досягаемости выстрела, вызывало у меня одну реакцию: немедленно выстрелить. Но на этот раз моя рука не потянулась к ружью. Я сижу не шевелясь. Боюсь, что этот дивный зверёк с таким чудесным названием «ласка» одним прыжком скроется в камыш. И ласка продолжает с любопытством разглядывать меня. Она словно понимает, что мне сейчас не до охоты, что мне грустно. И ружьё уже не радуется. Не догадался я, что не всегда можно лезть со своей радостью к другим. Димке, может, тоже хотелось бы вот так порадоваться, и он старался порадоваться вместе со мной, но у него это плохо получилось. Грустно, очень грустно...

А ласка, раскачиваясь и как будто к чему-то готовясь, словно понимает меня. Она стоит спиной к накрывалке и вдруг делает высокий лёгкий прыжок, плавно переворачивается в воздухе и скрывается в ней. Через несколько мгновений из накрывалки высовывается её лукавая мордочка. Она как бы спрашивает взглядом: «Ну как, ничего?» – «Вот это да-а!» – отвечаю ей в восторге. Ещё один прыжок с кульбитом через голову, ещё, ещё, из накрывалки, в накрывалку – каскад прыжков. И снова замирает, встав столбиком. «А теперь?» – «А теперь вообще бесподобно! Ни одному акробату в мире такое не под силу! Попробуй-ка ещё раз». Ласка не заставляет себя долго упрашивать. Мы с полувзгляда понимаем друг друга. И она даёт мне настоящее представление. Сила, гибкость, ловкость, точный расчёт, непосредственность и необыкновенная лёгкость, то, что не дано человеку. Дед как-то говорил, что ласка очень полезный зверёк. Где она поселится, там уж мышей не будет. И в старину верили, что ласка приносит счастье. И я теперь верю. Не из-за мышей. Благодаря ей у меня будто тяжесть с души свалилась. А ласка, совершив последний каскад прыжков, мгновенно скрывается в камыше.



Заря начинает затухать. А уток нет. Да и похоже, не будет. Но разве это так важно? Ширина подарила мне сегодня что-то, что лучше уток и охотничьего азарта. Я ещё не могу понять, что это такое, но чувствую, что лучше. Я вспоминаю её. Вспоминаю её гибкое тело, гордую, плавную походку, и всего меня словно обволакивает нежность. Умиротворённо смотрю на широкий покойный простор, на светящиеся в сумерках холмы балок, на высокие тополя, которые в одном месте вплотную подошли к Ширине, наверно напиться, да так и остались навсегда стоять над ней, удивлённые. И грусть моя уже не тяготит. Она словно высветлила душу, и самому мне хочется быть хорошим и справедливым и никому никогда не причинять в жизни зла.

*ПОЭЗИЯ*

**Вячеслав Морковин**

**«СТРОФЫ БЕЛЫХ ХОЛМОВ»**

\*\*\*

Это Камчатка. Посмотришь в окно –  
Трое тумана несут волокно.  
Может быть лодки. Кривая земля,  
Траверы сопки – моложе стебля

Этой травинки, дрожащей у глаз.  
Склоны, служители ветреных трасс  
Синих зигзагов равнин до небес –  
Смяты секундой, но каменный лес

Гнутой березы поверх кедроча –  
Древний из древних, стволы волоча  
Жизнью осевших тяжелых снегов.  
Видишь, считают удой ли, улов,

Гребни ли волн, или пену одну  
Трое идущих лицом в глубину...  
Это Камчатка. Вулканная тишь –  
Станешь ли, едешь, сидишь или спишь –

Где бы не шел ты – вдали и одни,  
Трутятся фигуры о серые дни,  
Серое ловят течение минут,  
Серые волны коленями мнут,

Сопки и сопки, увалов разбег,  
 Даль перевалов, заоблачных вех,  
 Сыплют вокруг, что никак не звалось –  
 Что полюбилось, и что не сбылось ...

Утро. Камчатка. Живая земля.  
 След истребителя, след корабля.  
 Всюду, под взглядом обрывов, вершин –  
 Трое бредущих в рассвете мужчин.

\*\*\*

Ты – на Камчатке! Вулканная даль.  
 Дымная сверху, цветная вуаль  
 Осени свежей на всем и везде –  
 В бульканьи, скрипе, шипеньи, возне.

Гул под ногами невнятный. Дугой  
 Снежник по склону сползает тугой,  
 Точкой по снежнику наискосок  
 Тянется группа, цветной волосок,

Выше и выше, сквозь ярусы круч,  
 Видеть и слышать, к подножию туч,  
 К рваным телам вулканических бомб,  
 К свисту ветров фумароловых помп.

Это Мутновка. Вулканная мощь.  
 Стань посреди вулканических толщь.  
 Слушай скрипение лавовых глыб,  
 Близкий чудовищный жерловый хрип.

Где высотой сжимает виски,  
 Где под ногами цветные пески,  
 Розовый прах фумароловых лун  
 В жёлтых разводах малиновых дюн,

Где пустотоюледник перемят,  
 Там, где фонтаны цветные бурлят,  
 Небо повсюду. Тяжелая синь  
 Камнем в оранжевых склонах висит.

Тучи одни, или небо в пол-туч.  
 Кручи в пол-неба, иль небо в пол-круч;  
 Синие камни на речке у дна,

Там, где утесы краснее вина.

Кратер и небо. Средь каменных лун  
 Диким младенцем оранжевых дюн  
 Пей фумарольную пьяную мощь,  
 Гейзерный шум вулканических толщ,

Список заветных событий читай,  
 Время волшебных открытий считай,  
 Желтое время лимонных камней,  
 Желтую пыль ослепительных дней!

\*\*\*

На грани осени, весны ли,  
 В пустые комнаты ли, в лужи,  
 Сгребает ветер листья, сны ли,  
 И потому – никто не нужен;  
 И ты одна на свете, ночью,  
 В промерзшей комнате, без лампы,  
 И за окном ландшафт неточный,  
 Как ветер, рвущийся сквозь дамбы,  
 И если падают все мимо  
 Минуты скрипом старых сосен,  
 И это время не кому-то,  
 Тебе напоминает осень  
 Твоей любви узором старым –  
 Сними же со стены гитару.

Блеснет она янтарным лаком  
 При свете свечки ли, коптилки,  
 Или луна печальным зраком  
 Раздвинет звездные опилки,  
 Внутри светлеет, и поленья  
 В голландку старую подбросив,  
 Пройдись по струнам лунной тенью,  
 И все равно, весна ли, осень  
 Снаружи. Веток шум и ветра,  
 И только льдины, что ли, в окна,  
 И до рассвета – километры,  
 И словно море моет стекла,  
 И только слезы этих звуков,  
 И только ветра звук и тлена,  
 И только слезы и разлука,  
 И только музыка нетленна.

\*\*\*

Мокроус. Получасье заката.  
 Тишина за уснувшей рекой.  
 Проводи нехорошего брата,  
 Проведи по затылку рукой.

И вокруг твои степи как степи,  
 Только изредка – пруд и лесок,  
 Только глины просушенный трепет,  
 Да полынной судьбы колесо.

Говорят, твои степи как цепи,  
 Мокроус, и немая тоска  
 Постоянства, которая сцепит  
 Поседевшей полынью виска!

Суховеем прожаренной воли  
 Над горячей дорогой в пыли,  
 Над безумьем иссушенной боли,  
 Над курганною степью былин?

Мокроус, твои люди как люди,  
 Но откуда же зимняя тьма  
 Пустоты замороженных буден  
 Среди жаркого лета впотьмах?

Может быть, твои годы – как коды,  
 Проступает же едкая чернь  
 Государства, ронявшего своды  
 На тебя, не известно зачем.

Мокроус, ты не трус, обещаю же  
 Глину времени ветром таскать,  
 И соленой душой обнищай же  
 Наши совести чаще ласкать.

А пока ты прости, не печалься,  
 Исчезая в степных миражах,  
 Над белесою степью качайся,  
 Как в полыни и глини витражах...

**«Строфы белых холмов»**

Волосы неба ерошит  
 Ветер, пугливая лошадь.  
 В ветре нечёсаной гривы  
 Мир тишины и крапивы,  
 Глина, полынь и дорога,  
 Пенье оленьего рога,  
 Свитки берёзовой кожи,  
 В них лебеда и горошек,  
 И залетевшая птица,  
 И позабытые лица  
 Мыслятся из ниоткуда –  
 Лета могучего чудо.

Белая туча клубами,  
 Светлые тени губами,  
 И облетают стрекозы  
 Белое тело берёзы.  
 Травами ветер искрится,  
 В ветре букашки ли, птицы,  
 Время звенит над лугами,  
 Плавает лето кругами –  
 Светлая белая туча.  
 Может ли кто-нибудь лучше  
 Выведать светлые чащи,  
 Выразить в воздухе счастье?

Травы, овраги и глины –  
 В лете грозы и малины,  
 В клейкой берёзовой дрожи,  
 В сини тенистых дорожек.  
 Розовые километры  
 Воздуха. Ветры и ветры  
 В травах, оврагах и глинах,  
 В царственно согнутых спинах  
 В звоне вспорхнувшей пичужки,  
 В переполнении вдохом  
 Жизни, и в небе высоком.

Чаща пропахла дубами,  
 Позарастала грибами:  
 В листьях – лисички, волнушки  
 Вязнут в прохладной подушке;  
 Нежного лета усмешки –  
 Розовые сыроежки,

Плёнчатые мухоморы –  
 Лезут на косогоры;  
 В синем тумане, как в грусти,  
 Дремлют огромные грузди.  
 Правду лесную – клубами  
 Шепчут грибными губами.

Выскочил розовый дождик  
 За лопухом в подорожник,  
 И оседает над лугом,  
 В травы, не знавшие плуга,  
 Неотразимое средство  
 Вырастить дождиком детство.  
 Тучи, степные драконы,  
 В воздухе. Гуси и кони,  
 Здешней травы пилигримы,  
 Прячут под крылья и в гривы  
 Розовый дождик – отчасти,  
 И ожидание счастья.

Зеркало дна и лета...  
 Речка травой одета,  
 В зеркале – только утро  
 Сонного перламутра,  
 Лодка посередине  
 Плавает в паутине  
 Времени в полном штиле.  
 В зеркале – только шири,  
 В зеркале сны и зыби  
 Медленных утренних рыбин,  
 Медленные повороты  
 Сонных водоворотов...

Пляж – описание жара  
 Белых песков и пожара  
 Тела, входящего в воду,  
 В медленные хороводы  
 В линзах искрящейся зыби,  
 В стайки крутящихся рыбин,  
 В блики, глубокие тени  
 Среди зелёной метели  
 Радужного полумира  
 Донных растений и ила,  
 В переплетения света,  
 В пляж одинокий и лето...

Утро туманы роет  
 Зеленью и грозою,  
 В тающем полумраке  
 Ивы кусты как раки  
 Из лубяной корзины  
 Черпают паутину  
 Чёрных корней и ила,  
 И на воды чернила  
 Дует так осторожно,  
 Призрачное светило.

Рифма интересуется  
 Тех, кому ветер всеу  
 Пишет лесные чащи  
 Звоном, меж волн летящим,  
 Или по горло в пене  
 Чуть шевеля губами,  
 Небо ворчит громами...  
 Пахнет началом лета  
 Сумрачная примета:  
 Холм, в немоте предгрозя  
 Тяжесть сирени гроздьев.

Снег ли ещё не стаял,  
 Уток ли белая стая,  
 Что-то мерещится в чаще,  
 Белое, настоящее.  
 Тянет туман с болота,  
 И просыпается что-то,  
 И улыбается свету  
 Всем незнакомое это.  
 Станешь самым собою,  
 Хворостом и судьбою,  
 И погружаешься чаще  
 В белое, настоящее.

Меря ширь ветвями,  
 Ветер берёзы тянет  
 Жёлтого поля выше,  
 В небо над красной крышей,  
 В синюю ширь простора  
 Дальнего косогора.  
 Пошевелил громами  
 Август в древесной раме.

Низко летает птица –  
 Надо воды напиться,  
 Надо траве присниться,  
 Надо запомнить лица...

Вот и пришли морозы.  
 Там, где стоят берёзы,  
 В воздухе пар клубится,  
 В ветках поёт синица.  
 Чисто. Сухие листья.  
 Треснет сучёк как выстрел,  
 И, шевеля ветвями,  
 Холод с низины тянет  
 По прошлогодним листьям,  
 По голосам их истин.  
 Пахнет сырым покоем,  
 Хворостом и зимою.

*ПРОЗА*

**Виктор Бирюлин**

## **ВОЗМОЖНОСТЬ ГОРИЗОНТА**

**Буданова гора**

Едешь из Саратова в сторону Красного Текстильщика. Мимо проплывают старинные сёла. Сквозь обступившие дорогу посадки проглядывают яблоневые сады, поля и овраги. Иногда вдали покажется Волга с островками. И вдруг среди равнины возникает гора с плоской вершиной. Народная молва, как принято в наших краях, связывает название горы с разбойником Буданом, спрятавшим награбленные сокровища в её недрах. Многие их искали, но, как водится, не нашли. Гора манит к себе. Заезжаю на неё по пологому южному склону.

Может быть, Буданова гора была когда-то островерхой. Но проходивший мимо в весёлом настроении воин-великан, играя силушкой, смахнул мечом её верхушку. Прошло время. Срез затянулся разнотравьем. Ямы от ног великана, сплывавшего, видно, победный танец на месте своего богатырского взмаха, укрылись кустарником, дикими яблонями и грушами.

Сверху видно и блестящую на солнце великую реку, и белые высоты Саратова, и рассыпанные тут и там пёстрые кубики сёл и дачных поселков, и серый пояс железной дороги, и широкие зелёные долины, сбегаящие к той же Волге. Кажется, стоит раскинуть руки, и ветер унесёт тебя прямо к густым облакам. Оттуда, верно, увидишь сразу половину Земли.



Но постепенно нарастает чувство тревоги. Вокруг никого. Сильный ветер глушит звуки. Привычный мир, из которого только что приехал, начинает отстраняться от тебя, становится далёким, чужим. Какое ему дело до разгуливающих по одинокой горе на одной высоте с парящими птицами? И уже хочется вниз, где не сорвёшься, зазевавшись, с обрыва.

С дороги Буданова гора напоминает и заколдованную голову богатыря из пушкинской сказки. Дышит, живёт, но не может сдвинуться с места, храня в себе тайну своей и общей жизни.

### **Пасечник с горящими глазами**

В сельской глубинке на краю берёзовой рощи в окружении лугов и пашен раскинулась пасека ульев на семьдесят. На пасеке вас встретит высокий, ладно скроенный, ловкий в движениях сорокалетний красавец-мужчина. «Костя», – представится он. И улыбнётся тепло, открыто, как улыбаются люди, знакомые, по крайней мере, со школьных лет.

Костя расскажет вам о жизни и смерти пчёл. Поймает трутня и объяснит его отличие от рабочей пчелы. Покажет и воскотопки собственного изобретения, и роёвни, закинутые до времени на деревья, и вырезанную на всякий случай дубину. Проводит к гнезду зяблика рядом с пасекой. Угостит чаем, заваренным с чабрецом и зверобоем, тут же мимоходом сорванными. Предложит к чаю целое ведро медовых обрезков. Восседая с сияющими глазами возле шаткого столика из ящика и досок, он в довершение наглядно покажет и свою весеннюю прививку от пчелиных укусов. На лету поймает пчелу, кажется, специально к нему подлетевшую, приставит к тыльной стороне ладони, подержит немного и выдавит жало.

Костя легко переносит дожди, холода, комаров, одиночество и ночь непроглядную. Главное, чтобы утром солнце не подвело. Всего важнее для Кости и его пчёл проснуться пораньше и с ходу взяться за привычное, любимое дело, которое кормит семью, и с которым не собьёшься с дороги.

Рассказ хозяина пасеки вместе с близким незамолкающим гудением и мельтешением завораживают. И уже сам хозяин с его неутомимостью, приятно гудящим баритоном кажется вам большой доброй хозяйственной пчелой. А его выдавшая виды будка – ещё одним ульем, только тоже очень большим.

Будь его воля, Костя полетал бы со своими пчёлами. Ради удовольствия увидеть сверху блеск цветущих полей, почувствовать зов нектара, ощутить брюшком желанный атлас медоносов и вернуться домой, обременённым сладкой тяжёлой добычей. Может, подобное желание возникает и у лётчиков. Желание самому взмахнуть в небо, не в железной капсуле с приборами управления, а подобно птицам, свободным в своём полёте.

Внутри деловито жужжащего пчелиного мира не верится в его предрекаемую учёными гибель. Но если до этого дойдёт, то изумлённым

взорам людей однажды предстанет летящий рой во главе с человеком. Это Костя поведёт пчёл в края, свободные от болезней, бескормицы и человеческой жадности. Они будут лететь, не останавливаясь, пока не доберутся до своего вечного медового пути.

### **История одной жизни**

Листок яблони появляется из весенней почки, подобно младенцу из материнского лона. И вынашивается он почкой столь же долгий срок. Листок появляется на свет нежно-зелёным, липким, пахучим и остаётся преданным яблоне до конца своих дней. Он жадно вбирает в себя идущие из земли соки и льющийся сверху солнечный поток. И неудержимо растёт, набираясь сил для предстоящего ежедневного труда. В этом он больше похож на прежних деревенских ребятишек. Они недолго играли в куклы и салки, быстро впрягались в общий семейный воз.

Большому тёмно-зелёному листку забот и хлопот хватает. На его попечении яблоня, её плоды, требующие питания, свежего воздуха и солнечных лучей. И листок трепещет, носится с веткой по ветру, глотает пыль, омывается дождями, терпит острые птичьи коготки.

Случаются у него и тихие часы отдыха, когда воздух замирает, погружая всю садовую округу в состояние райского блаженства. Тогда он счастлив и радуется, как может радоваться только уставший листок.

Между тем плоды налились, начинают желтеть и краснеть. Подходит, наконец, пора их сбора. На изработавшемся листке проступают коричневые пятна. Он уже не так упруг, скорее, жестковат и хрупок. Наступает осень и его жизни.

Ему есть о чём вспомнить. А многих его братьев и сестёр давно нет рядом. Кого-то съели гусеницы, других унесло июльским штормовым ветром, кто-то оказался на ветке, мешавшей садовнику.

Солнечные лучи греют слабее, ночной холод ощутимее. Зябко листку, он чувствует свою бесполезность. Рядом с ним выросли и заматерели новые почки. Плодов уже нет, а новым почкам, бережно вынашивающим будущие листья, он не нужен.

Но листок, как и человек, не уходит из жизни по собственному желанию. Для этого требуется сильный порыв ветра, долгий осенний дождь или ударивший ночью мороз. И тогда листок отрывается от ветки и падает вниз.

Как и люди, он просто падает на землю там, где его застала смерть. Он не летает, кружась, подобно киношным героям, успевающим перед падением совершить несколько картинных телодвижений. И если его подхватит ветерком, что ж, пусть люди полюбуются его кружением. Листку всё равно.

Взял такой листок, занесённый в угол террасы, в руки. Коричнево-палевый, сохранивший свою форму, но уже наполовину просвечивающий от

ветхости. Похожий на все остальные листья, покрывшие землю в ноябрьском саду.

### **Видения в осеннем саду**

В поздний осенний день, ещё светлый, не слишком холодный, но уже пустынный, в саду, бывает, как наяву увидишь родных тебе людей, гулявших, хлопотавших здесь погожим летним временем.

То почудится, что Тима пробежал с палочкой в руке, что-то, как обычно, напевая. Куда он бежал? Наверное, к качелям за баней. Там, в тени яблонь, его ждут улыбающийся двоюродный братик Никитка с большим мячом в руках и добродушный шарпей Ричи, устроившийся на прохладной травке.

Собираешь упавшие незрелые зимние яблоки и на автостоянке из щебня с проросшей травой вдруг представишь Ванюшку, неторопливо укладывающего в багажник рыболовные снасти.

Посмотришь в сторону холма, погрезится, что под дубом возится с жуками-оленьями «дядя Боря», приехавший погостить на недельку из далёкой Эстонии. В руках у него фотоаппарат с внушительным объективом.

Воображение разыгрывается. Стоило подойти к беседке, как показалась жена, несущая на большом подносе завтрак для меня. Невольно дёрнулся, чтобы помочь ей спуститься по крутым ступенькам террасы, но видение растаяло.

Зато беседка за спиной наполнилась голосами. Отчётливо донёсся добродушный со смешинкой голос свата, к нему добавились жизнерадостные интонации сватьи, тонкие, по сути, девчоночьи восклицания невесток и густой баритон Кирилла. Обернулся, но только виноградные подсохшие листья прошелестели под порывом ветра.

Вспомнилось, как украсил наши застолья в беседке старинный абхазский кувшин для вина, доставшийся от приятеля.

Где они, дни семейных сборов с приятными хлопотами, и дни разъездов, напоминающие иной раз итальянскую комедию с её суетой и неразберихой?

Давно растаял в зелёных окрестностях дым от мангала. И дым из банной трубы достиг, наверное, высоты, к которой он раз за разом настойчиво и бодро устремлялся.

В вечернем саду тихо. Доносится только слабое стрекотание редких осенних сверчков.

### **И как всё самое прекрасное**

Уместны ли некрологи домашним питомцам? Ведь их и хоронят уже зачастую на специально устроенных кладбищах. Может, печатать некрологи

животным неэтично или даже безнравственно? Почему же? Неэтично и безнравственно печатать лицемерные некрологи умершим убийцам, ворам и проходимцам. Но печатают, ведь бумага всё терпит. А вот память о любимых кошках, собаках и попугаях светла без всяких пятен.

Некрологи о животных предполагают краткость, поскольку служебной карьеры у них не было, да и существа они не публичные, за домашним порогом, как правило, неизвестные. Образцом может послужить пример соотечественника, не пожалевшего 30 тысяч евро за страницу в итальянской газете *Corriere Della Sera*. На ней напечатана большая фотография кота по кличке *EROS* и строчка из композиции итальянского певца Фабрицио Де Андре: «И как всё самое прекрасное, ты прожил только день, как розы».

Фотография и несколько душевных слов.

Не так и много в память о тех, кто был сокровенной частью нашей жизни, скрашивая её печали, смягчая одиночество.

### **На канатной дороге**

Приехал в гости к приятелю в Кисловодск. В необъятном роскошном парке упорно карабкались, скользя по замшелым валунам, вверх до стоянки канатной дороги. И вот уже парим в кабине над впадиной между горными отрогами. Причудливый вид деревьев с высоты птичьего полёта быстро захватывает всё внимание. И санатории раскинувшегося в стороне Кисловодска, и хаотичные движения туристов притягивают взгляд необычным углом зрения, невозможным внизу. Там ты вольёшься в один из людских потоков и лишишься царственного обзора, придающего твоему шаткому положению особенную значительность.

Но вот толчок, другой, кабина немного вздёрнулась и остановилась.

Посидев в кафе на обрыве за бутылкой красного сухого вина, полюбовавшись ещё раз видами покрытого соснами предгорья, причудливыми пещерками природного происхождения, заскользили, как на лыжах, вниз между праздных людей, вековых корней, ярких цветов и солнечных лучей.

А в стороне мимо нас продолжала парить над бездной знакомая игрушечная кабина. Можно было бы назвать её лёгкое движение беззаботным. Если бы не канат, от прочности которого зависел и этот завораживающий глаза воздушный ход, и жизнь доверившихся кабине людей.

### **Хорошее лето**

Тихий июньский день. В саду слышны заботливые птичьи голоса – подросшие птенцы встают на крыло. Пахнет скошенной накануне травой и

лёгким медовым запахом распустившихся пионов. В листьях аквилегии, как в чашечках, собралась влага. По одной жемчужной капле в каждой чашечке.

Потянуло дымом из банной трубы. Вспомнился недавний вечерний костёр, разведённый вместе с внуком. Сидели на лавке и одинаково заворожено смотрели на языки пламени, вырывающиеся из каменного ожерелья кострища.

Окликнула соседка, спросила, как я делаю изюм. Посоветовал ей перед сушкой окунуть виноградные кисти в кипящую воду с содой. Поздоровался с другим соседом, собравшимся на Волгу.

Жду в гости друга. После учёбы он уехал в Прибалтику и прикипел своей охотничьей душой к тамошним лесам и болотам. Вначале охотился с ружьём, теперь всё больше с фотоаппаратом. Увлекался и виндсёрфингом, и поделками из дерева и металла. В последние годы потянулся к путешествиям. Но всё его что-то беспокоит, чего-то всё недостаёт.

Между тем неожиданно по крыше застучал дождик. Начали вздрагивать листья на яблонях. Из малины упорхнули кормящиеся в ней скворцы. Одни воробьи чирикают под застрехой. Впрочем, дождь уже и закончился. Показалось солнце, небо украсило весёлое коромысло радуги. Давно её не было. Вокруг всё сразу посвежело, заблестело.

### **У прилавка с сушёными фруктами**

Обычный прилавок в современном продуктовом павильоне с высокой стеклянной крышей. На узких полках разложены сухофрукты и пряности. Мимо проходят озабоченные хозяйки, не обращая особого внимания на выставленные лакомства. А у тебя разбегаются глаза.

Конечно, разноцветные цукаты из корок дыни и арбуза, чернослив с масляным отливом, сладчайший урюк, светло-серый загадочный инжир, россыпи изюма всех цветов и размеров, смеси сухофруктов из яблок, слив, груш и вишни тебе хорошо знакомы. Но твой личный вкусовой опыт растворяется у прилавка, над которым время, кажется, замерло. Библейская смоква, или инжир, финики, курага и их соседи по полкам тешат людей с глубокой древности. Верблюжьи караваны и парусники с просмолёнными бортами без усталости перевозили из одного края света в другой тщательно упакованные тюки с плодами жизни. Правда, о них говорят куда меньше, чем о поднятых со дна моря античных амфорах и статуях. Они ведь не исчезали и остались такими же, как и в те давние времена.

От пряностей голова идёт уже кругом. Драгоценные стручки ванили, рогатый имбирь на все случаи жизни, бодрящая корица, ароматный кардамон, целительный чёрный тмин, жгучая гвоздика, заветный шафран! Чудится в них, изысканных и дорогих, блеск сокровищ из сказочных пещер. Редкие в наших кухнях зира, пажитник, куркума и кунжут соседствуют с привычными красным перцем, анисом, кинзой, барбарисом, укропом, петрушкой, мятой и базиликом. И ещё с десятком-другим перетёртых в

порошок и заманчиво пахнущих растений, помогающих блюдам раскрывать свои вкусовые богатства. Все они надёжно хранят память о летней огородной зелени.

С трудом отрываешься от созерцания волшебных полок. Кажется, вест от них лёгким ароматом плова и тонким запахом выпечки.

Наконец, встречаешься глазами с уже знакомым улыбающимся хозяином прилавка. Ему лет сорок. Невысокий, со смуглым круглым лицом и сам весь округлый, уютный. На голове его неременная тубетейка. В праздничные дни он бережно держит в руках раскрытый Коран. Обходительный, уступчивый, желающий здоровья, от души благодарящий за покупку и с готовностью выходящий из-за прилавка, чтобы помочь уложить её в пакет. Он тоже напоминает торговца из восточных сказок. Для полного сходства ему не хватает разве что полосатого халата и платка вместо пояса.

– Салям алейкум, Зариф!

– Алейкум салям, дорогой! Что пожелаете?

### **Простые радости и горести**

Вернулся из мартовского сада. В саду ещё сплошной снежный полог. Увидев меня, к веранде подлетели воробьи. Порхали по перекладинам и бельевым верёвкам, чирикавая в ожидании хлебных крошек. Отзимовали. Когда обходишь тихие дачные комнаты, готовые к новой летней жизни, душа щемит. Сад по-прежнему самое безгрешное место на Земле.

Вечером с сыном ловили рыбу на спиннинг в устье Хмелёвки. Старый камыш срезан льдом. А новые макушки ещё только вышли из воды. Заходящее солнце искало в высоком правом берегу любую щель, чтобы протянуть подальше свои оранжевые пальцы. Сын, рыбацкая душа, раз за разом закидывал спиннинг. А мне достаточно было вновь почувствовать волжскую безлюдную ширь.

Внук может разбросать игрушки, поозорничать, посвоевольничать. Но вот пошли мы с ним вечером гулять. Долго раскачивал его на качелях. Наконец, он поинтересовался, почему я перестал приезжать к нему по вторникам и четвергам. Объяснил, что зима прошла, дела в саду появились. «Тогда я буду ждать зимы». Потом неожиданно спросил: «А ты меня любишь?» «Конечно». «И я тебя люблю». Наигрались, пошли, не торопясь, домой.

В день рождения Пушкина открыл «Евгения Онегина». Перечитал письмо Татьяны, последнее объяснение с ней Онегина, вернее, последние слова Татьяны ему, молча стоящему перед ней с напрасной мольбой в глазах, и вновь почувствовал наворачивающиеся слёзы.

*Дождь в саду.*

*Дождь в душе.*

*Вдруг, ниоткуда, солнца луч!*

*Аромат жизни.*

Это как бокал домашнего вина, впитавшего одно солнце с тобой, дышавшего одним с тобой воздухом. Или как влекущий запах чечевичной похлёбки, встречающий тебя у порога вестником ещё одного тихого домашнего вечера в кругу семьи.

Поехал с утра на кладбище. Навёл порядок на могилах отца и бабули. Посидел возле оградок, посмотрел на родные фотографии, повспоминал.

На обратной автобусной остановке приветливая сверстница заметила у меня на спине гусеницу и заботливо сбросила её.

– Да она же не съест!

– Всё равно, неприятно же.

Позвонила невестка, сообщила, что у внука разболелось ухо. Бедняга. А мы-то считали, что они всей семьёй гостят у своих друзей. Вот так думаешь, что солнце светит, посмотришь в окно, а там дождь осенний по стёклам сечёт.

Всю жизнь человек размышляет о том, что он делает не так. Но что, собственно, простой человек, не облечённый большими властными полномочиями, может сделать дурного? Да многое, каждый это знает, но делает, греша потихоньку, как правило, себе же во вред.

Просматривая в гостях семейный альбом, невольно задержался на одном из снимков. Пожилой человек сидел в окружении молодых людей с распахнутыми, светящимися глазами. В них отражались их надежды, чувства, даже черты характеров. А его глаза выглядели потухшими и смотрели вниз, выпадая из общего светлого потока.

Раздумья о старости прорастают даже сквозь счастливые мгновения. Дашь слабину, и они явятся во всей своей унылости, неприглядности. Хотя, чего греха таить, уныние охватывает чаще всего от безделья. Недаром же людям заповедано трудиться в поте лица своего.

Впрочем, люди всегда о чём-то грустят, даже когда смеются.

Бывает, упорно добиваешься чьей-то дружбы. И вдруг начинаешь понимать, что тебя манит собственное воображение.

Успокоиться внутренне, пожалуй, труднее, чем дом построить.

Преодолевая ямы на разбитой пригородной дороге, размышляли с сыном о бездарном управлении родной областью. Опять же, что от нас, простых людей, здесь зависит? Мы ни отчего не отлыниваем, работаем в меру своих сил и способностей, голосуем по совести. Как бы то ни было, жаловаться на судьбу не станем. Уж куда лучше радоваться жизни с её цветами и колочками.

### **Возможность горизонта**

Вышел рано утром из зелёной садовой лагуны и налегке отправился к манящему небосклону. Радость охватила, стоило только пройти несколько шагов по мягкой песчаной колее, поросшей невысокой травой. Небо хмурое, но солнце золотит восток.

Говорят, что до горизонта, если его видимую линию обозначить каким-нибудь деревом или холмом, всего километра три-четыре. Но дойдёшь-то до дерева или холма. Горизонт по-прежнему будет впереди. Он похож на взрослого человека, протягивающего ребёнку игрушку, побуждая его двигаться. Каждый раз, когда маленькая рука готова схватить забаву, игрушка отодвигается дальше. И человечек опять идёт вперёд, слегка покачиваясь на ещё слабых ножках.

Во время праздной одинокой ходьбы мысли приходят самые неожиданные. Вспомнилась вдруг сцена из недавнего фильма «Ной», в которой небесные стражи говорят: «Мы поможем этому человеку построить ковчег». Подумалось, что всегда найдётся человек, которому стоит помочь.

Дорога вьётся между холмов. Холмистая местность. Звучит обыденно. Но вот несколько холмов расположились друг за другом наискосок, и я увидел сразу несколько горизонтов. По одному над каждой вершушкой. Образовалась своего рода прерывистая линия, ведущая к всё более далёким горизонтам.

Как-то разговорились с приятелем о годах и болезнях. Увы, они берут своё незаметно и необратимо. Порассуждав, пришли, однако, к выводу, что дело не столько в годах и болезнях, сколько в ясности мышления, которое редко кому удаётся сохранить до глубокой старости. Но обнадеживает, что кому-то это удаётся.

Ещё говорят, что горизонт всегда у нас под ногами. Только это чужой горизонт. Может, и наш под чьими-то ногами, да за расстоянием не видно. Поэтому горизонт всегда выглядит чистой линией, пусть изломанной холмами или даже горами.

Это как счастье. У каждого оно своё. Например, для жителей Фарерских островов, по их словам, счастье невозможно без тишины, душевного спокойствия, размеренной понятной жизни. Они хотят точно знать, что будут делать через полгода в четверг. Другие бы от такого счастья заскучали. И всё-таки у каждого оно связано с радостными ощущениями жизни.

Прошёлся немного берёзовой рощей вдоль дороги. Сквозь зелень листвы проглянули лёгкие белые облака на голубом небе. Задышалось легко, пахнуло лесной свежестью. В высокой траве заметил стайку кормящихся скворцов. Застучал дятел по стволу. Словно отбойным молотком прошёлся. Рядом со мной неожиданно «крякнула» иволга и тут же выдала короткую мелодию на флейте.

И опять вышел на припорошенную пылью дорогу.

Наконец, она вывела на высокий волжский берег. Великая река широким блестящим под солнцем полотном уходила на север и юг. Кажется, вместе с рекой взгляд дошёл бы до соседних городов, а там и до дальних. За спиной раскинулась давно обжитая земля. А за Волгой – бескрайняя степь. Днём перед бредущими по ней пастухами колышутся марева, а ночью они видят со всех сторон мерцающие таинственные огоньки.



### Далёких молний не бывает

В саду с утра шелестит дождь. Неожиданно со стороны Волги блеснула молния. И сразу, без обычной задержки, раздался оглушительный удар грома. И вновь мерный шум дождя, будто ничего и не было.

Накануне разговорился на автомойке с владельцем дорогой иномарки – хорошо одетым, подтянутым и ухоженным мужчиной лет шестидесяти. Разговор после короткого обмена информацией о растущих ценах на бензин и машины свернул в неожиданную сторону – мы заговорили о превратностях человеческих судеб. И мой случайный собеседник, назвавшийся Анатолием, рассказал историю своей семьи.

– Мои корни в Большой Казачке, что за Калининском, бывшей Баландой. Семья была бедняцкая, перебивались с хлеба на квас. По семейным преданиям, дед, когда дети выросли, собрал всех и сказал: «Расходимся на два года зарабатывать, потом сойдёмся, сложимся и заживем, как следует». Сыновья нанялись работниками к богачам, сам дед стал пасти свиней, некоторые из женщин христарадничали. Через два года сложили заработанное и сразу встали на ноги – купили землю, скотину, плуги, бороны и другие необходимые в хозяйстве вещи. Но вскоре грянули революция, гражданская война, а за ними и коллективизация. Вступать в колхоз дед наотрез отказался: «Столько горбатились всей семьёй, а теперь отдавать нажитое чужому дяде?» Его с ещё одним отказником отвезли в кутузку возле Лысых Гор, километров за сорок от дома. Посадили, как говорится, на воду и солому, чтобы взять на измор. Но они не соглашались, сидели, пока помирать не стали. Тогда их отпустили. Как раз перед посевной. Дед идти уже не мог, попросил молодого сокамерника помочь, мол, потом родня расплатится. Тот тащил, пока хватало сил. Но тоже ослаб. Еле добрался до села, передал родным деда, где его искать. За ним поехали, нашли на обочине с выклеванными воронами глазами. Но живого. Так он слепым и доживал. А младший сын его, мой отец, во время войны попал в плен. Выжил, можно сказать, чудом. На родине отца ещё на три года в лагеря отправили. Правда, ему повезло – строил метро в Москве.

Закончив рассказ, Анатолий пожал мне руку, и мы разъехались каждый в свою сторону. А услышанное всё не отпускает. Не только потому, что произвело сильное впечатление. Из головы не шла дорога между Лысыми Горами и Большой Казачкой, хорошо знакомая и мне. Она и сейчас не везде обсажена деревьями. По обе стороны одни поля, пересыхающие летом русла ручьёв, овраги, где-то за ними крыши редких сёл. Пустынный и в наши дни край.

Неизвестно, где был оставлен дед Анатолия. Примерно на полпути дорога выводит на вершину высокого холма. С него он мог бы увидеть Баланду, от которой рукой подать и до Большой Казачки. Но, скорее, он остался лежать ближе к Лысым Горам. Вряд ли обессиленный односельчанин смог его далеко протащить. Самому бы спастись.

Наверное, поначалу, ещё недавно крепкий мужик, привыкший пахать от зари до зари, пытался как-то двигаться вперёд, хоть на карачках, ползком. Но где-то за полдень, когда и весеннее солнце припекает, силы могли его оставить. Тогда он упал на спину или перевернулся на неё, бессознательно стремясь к свету.

Представилось, как дед Анатолия беспомощно лежал, раскинув руки, на покрытой свежей травой обочине. Рядом жужжала одинокая пчела. В небе заливался жаворонок. Ветерок доносил с полей запах влажной земли.

О чём ему думалось?

Может, он звал жену, детей? Вспоминал свою большую деревенскую родню? Может, вся жизнь промелькнула перед ним в одно мгновение? Или ему припомнился запах расцветающей сирени возле лавочки за забором, жар домашней бани с запахом дубового веника, до которых он был большим охотником?

Вряд ли он услышал хлопанье птичьих крыльев, только пронзила его последняя перед забытьём боль от острого клюва, заглушившая приближающийся лошадиный топот и скрип крестьянской телеги со стоящими на ней сыновьями, напряжённо оглядывающих окрестности.

А в моём саду всё ещё идёт дождь. С открытой веранды видны отблески беззвучных далёких молний. Впрочем, далёких молний не бывает.

### **Новое вино на Зелёном**

Мы опять с другом на Зелёном острове. Кругом песок и царственные дубы в окружении мелких зелёных зарослей.

Находим виноградник приятелей и пробираемся густыми рядами кустов с резными листьями к тихому волжскому заливу. Выходим к деревянному причалу. К нему привязана лодка, приготовленная к рыбалке. Забытый уголок.

И вот уже сидим на берегу возле бани за крепким столом на удобных широких лавках и пробуем новое вино.

Разговор наш незатейлив – о том, что видим и слышим.

В камышах показалась пара диких чёрных уток с белыми клювами и белыми пятнами на лбу.

– Это лысухи, – говорит мой друг, знаток лесов, водоёмов и их обитателей.

– Если у лозы загнутый край, значит, она растёт, тянет урожай, – замечает хозяин виноградника, сам похожий своим сухим, гибким телом на матёрую лозу, такую же сухую, витую из древесных мускулов, крепкую.

– Виноград так влечёт к себе, что про усталость забываешь, – добавляет улыбчивая хозяйка, расставляя на столе закуску под вино – хлеб, сыр и зелень.

Что-то неуловимое зашумело над нашими головами. Мы посмотрели вверх и увидели над собой бескрайний и бездонный небесный океан, свободный, как и наши сердца в этот миг.

– За впечатления! За лучшие впечатления! – прозвучал и мой тост.

Сухое вино гранатового цвета оказалось терпким на вкус, с ароматом чернослива и немного вишни и чёрной смородины.

*Бокал домашнего вина!*

*Как согревает душу он.*

*И думается легче.*

Решили, что доброе вино стоит хорошей книги, ласкающей слух мелодии или яркого живописного полотна.

– Утром возле ёмкости с водой нашли спящего ежа, – продолжают хозяева. – Свернулся клубком и спит себе, ни о чём не беспокоясь, только брюшко тихо вздымается.

По веткам порхает молчаливая сорока. Из-за забора показался молодой чёрный кот, тихо мяукнул, поглядев в нашу сторону.

Вчерашний дождь увлажнил землю. Солнце нежаркое, июньское. Каждая травинка радуется жизни.

Мягкий хмель тем временем потихоньку кружит голову.

Над нашим дружеским столом витает лёгкий дух беззаботности.

*ПОЭЗИЯ*

**Андрей Сокульский**

## **О ЛЮБВИ**

\*\*\*

Любовь приходит и уходит,  
Как волн движенье бесконечно,  
Пока тебя кругами водит,  
Я стыну на пространстве млечном.

Во мне движения глубинны,  
Бездонно время, обратимо.  
Плыви, не бойся тратить силы,  
Мы будем вечно невредимы.

Ты длинно смотришь исподлобья.  
Планета мёрзнет, замирает.  
У ведьмы варится снадобье,  
Печально – птицы улетают.

Печально – холода предтеча.

Лишь океан не замерзает.  
И волн движенье бесконечно.  
И у тебя улыбка тает.

### Черновик

Дело – дрянь, если жизнь – черновик,  
ты идёшь за мной вслед осторожно,  
и вращаются звёзды вельможно,  
пан Октябрь, я так не привык  
к этим жёлтым исчадиям сада,  
к этим листьям, что стол мой – бумага,  
закрывают собой материк.

Почему это жизнь – черновик?  
Центробежные втянут в орбиту.  
Круг замкнётся, но тяга к зениту  
обозначит судьбу или миг?  
В этом замкнутом чёрном пространстве  
почему я люблю постоянство?  
Где тот путь, что ведет напрямик?

Да, конечно же, жизнь – черновик!  
Разве так мы с тобою станцуем,  
разве так я любил бы другую,  
разве вторит мне косный язык  
в кривом зеркале, в городе смеха,  
где провал – отраженье успеха...  
И где жизнь... Ах да, черновик...

\*\*\*

Я потихоньку забываю о тебе,  
Я научился плыть по Одиноко.  
И я не думаю – мы оттого в беде,  
Что мир устроен извращенно плохо.

Рассвет не будет хуже – он рассвет.  
Природа не умеет притворяться.  
И если нет любви – её и нет.  
Нам легче врать, чем сумрачно сознаться.

Любовь снисходит невзначай и вслед,  
И если не беречь её – уходит.

И мальчик полегоньку станет сед.  
Жизнь хороша и тем, что происходит.

Пойми меня, попробуй, расспроси,  
Ведь каждый день красив, а в вечер – свечи.  
Прости меня, любимая, прости  
За время, что не врёт, но и не лечит.

\*\*\*

Лето будет коротким,  
Ты не сразу приедешь,  
Будет много работы,  
Лето и не заметишь.

Здесь всегда лета мало,  
И простора от Волги.  
Ты меня целовала –  
Только толку-то, толку....

При любых вариантах  
Неминуемы стрессы,  
Мы зарыли таланты  
В битвах за интересы.

Ничего не известно,  
Никогда не вакантно,  
Но немножечко пресно  
И немножечко странно.

Чем сильнее мы ждём,  
Тем больнее теряем.  
Мы не много поймем  
Или поздно узнаем.

Под осенним дождём  
Просто вспомнилось лето.  
Мы не сразу поймём,  
Нам не нужно ответа...

## **Вещи**

После того, как ты уехала, у меня не осталось

дома.

В комнате, в которой я сплю,  
стали появляться случайные чужие вещи.  
Новый будильник,  
громко по утрам складывает секундами железные  
рельсы.

Вечером его нейтрализация временно возможна  
посредством усталости и алкоголем.

Кондиционер, американская иллюзия благополучия,  
не включается никогда.

Я всё чаще открываю ставни и дышу пылью города.

Ящички и полки заполняют черновики, ненужности  
и заговоренные подарки уставших от непоняток  
перезревших поклонниц.

Так как подарков достаточно,  
их фон взаимоликвидируется,  
но отголоски битв и споров слышны по ночам  
во сне.

Ночью пришла ведьма – внимательно всматривалась.

Я думаю – её беспокоит "Июльское полнолуние",  
но совсем иначе, чем меня.

Сумею и успею ли его дописать? Прочтут ли его  
дети?

Брюс Ли, Мухамед Али, "Интеграл" Бари Алибасова  
и "Битлы" –

спутники детства и ранней юности.

На комодѣ навечно присела  
только антология "The beatles" –  
ещѣ тогда было понятно, что время определится...

Уныние невозможно, но в мѣртвой комнате  
зависшая на стене гитара, прибывающие стопками  
книги

и ожидающие убитыми змеями галстуки:

одиннадцать синих,  
семь чѣрно-серых,  
по четыре – жѣлтых и красных,  
один зелѣный

и один, как картина художника, – заплатами,  
одетый всего раз с тобой намного в прошлом веке  
на Новый год во Вьетнаме.

Жалко, что не держу в комнате раскладушки,  
чтобы уйти на крышу считать звезды.  
Надо купить!

### **Родинка**

То, что чешется на твоей гладкой спине –  
не прыщ, а ночью народившаяся  
маленькая новая родинка...

Давай обозначим цифрами благородинку,  
как и невозвратно ушедшую ночь,  
дадим ей дату,  
из которой пробилась цитата,  
что в небе народилась звезда,  
и утром руки, совершая массажные движения,  
нашли на земле её отражение.

Но так как она маленькая – её надо беречь,  
обходить стороною в беглой брэнности встреч,  
забывая цитату, но зафиксировав дату  
спины твоей вселенной  
в вечности человеческой родинки...

### **Вечер**

Пока ты привыкаешь к измененьям,  
глотни водицы мелкими глотками.  
И раскалённые тяжелые поленья  
слегка подвинь, но, право, не руками.

Я остаюсь в задумчивости тот же.  
Все переходы изначальноходимы.  
Никто не вправе за тебя итожить.  
Мы излечимы, если мы любимы.

Фатально кувыркаются законы,  
приливов и отливов удивленья.  
Достаточно, что день спокойно прожит,  
и красота живет среди сомнений.

## До и после

### До

Мои втянутые и отбитые солнцем скулы  
гуляют,  
а глаза  
исчерпывают себя от невозможности  
двигаться в сторону  
и смотреть внимательно и вскользь на ноги,  
на ягодицы  
и в область молнии джинс...  
Мне не хватает природных линз,  
чтобы проникнуть в твои ресницы.  
Мне остается молчать, молиться и ждать.  
Невероятно, но я уверен,  
что буду снимать эти джинсы  
и все остальное,  
что изначально в мире нас только двое,  
И полетят вещи по комнате  
медленно и в наслаждение.  
Я воспроизвожу про себя,  
как в кино, вождельённо мгновения.  
Сомнения  
не стоят ничего.  
Кто остановит безумного?  
Что?  
Мне наплевать на предпосылки опасностей,  
на сумерки дня,  
на твоего бывшего глупого спутника,  
готового кинуться в бой по-петушиному  
сразу.  
Я перешёл окончательно фазу прелюдии любви.  
Химическая реакция, как говорили,  
имеет такую силу,  
что ломает в руках лёд.  
Меня вино не берёт.  
В сердце весна-волчица.  
От желания отличится  
столбенеет в истерике тело.  
Я обожаю и произношу  
слово, отдельное от меня,  
постепенно, негромко, но смело,  
выводя на наших лицах испарину.  
Я танцую с тобой отчаянно.



Навсегда!

## После

Ничего как будто и не было.  
Звёзды висят, повторяются  
вкрадчиво с нами  
сами.  
Салют зари из небес подходит  
снизу к лесу.  
Бесы попутали разные души и интересы,  
но под утро и сил не осталось.  
Старость  
приходит за мною,  
как длительный сон.  
Не усталость,  
а выход из имитации процесса.  
Мне, как всегда, интересно  
просто лежать на спине  
и глядеть среди звезд на Луну,  
повторяя всю жизнь и отрывки ночи.  
Память – длиннее, а жизнь – короче.  
Спи.

\*\*\*

А времени-то нет.  
Я думал – его мало,  
а его просто нет.  
Болтаюсь на ветру.

Болезни, беды, бред,  
сон – в поисках вокзала,  
где поезд отошёл,  
а я за ним бегу.

И, проронив слова  
бегущего по шпалам,  
не выразив себя,  
но выглядев Луну.

Я принимаю мир  
в котором много – мало,  
но главное, что есть  
и я к тебе бегу

## **В надежде на лето**

*«Ожидается духота...»*

Говорят, будет хлябко, дожди  
угрожают, что будет прохладно,  
не печалься, достаточно, ладно,  
всё пройдет, не озвучивай, жди.

Бесполезно, не стоит кричать,  
потому что уже не осталось  
на сомнения, малая-малость,  
потому-то не стоит кричать.

Нам хотелось уехать в страну,  
где живет бесконечное лето.  
Будешь умницей – хватит об этом,  
я тепло, будут силы – верну.

Даже если затянут дожди,  
посмотри снизу в тучи косые,  
ах, какие мы здесь золотые,  
не части, я прошу, не части.

Неба долгая, синяя даль  
не гарант и не повод разлуки,  
не ломай за спиной моей руки,  
дальше осень – глухая печаль

С нами вновь.

## **Любовь**

Я не обязан тебе рассказывать, о чем пишу.  
Я не должен тебе говорить, о чем думаю  
каждую минуту.  
Я не всегда успеваю тебя целовать  
в краешки ушной раковины,  
в окончания мизинчиков,  
езде,  
но вокруг тебя не мои годы,  
вокруг тебя – я сам

весь  
без остатка

\*\*\*

*М.Лысенко*

На склонах Турции повисли облака.  
Привычен бег по замкнутому кругу:  
столовка, море отдыха... Пока  
ты не вздохнёшь супруге иль супругу:  
"Пора домой. Пакуем чемодан.  
Нас ждут дела. Загар сойдёт не скоро..."  
Немного жаль, что местный балаган  
мне не забрать, увы, в единый город  
моих друзей, моей большой страны.  
Но есть надежда, ещё строю планы...  
Прости меня любимая, что ты  
так часто видишь все мои изъяны.  
Прости мне Турция бестактных россиян.  
Прости обжорство лишнее, не в меру.  
Прости, что к ночи часто я бываю пьян...  
Но я вернусь. Конечно. Непременно.  
Как возвращает кто-то здесь с утра  
на склоны Турции с любовью облака.

*ПРОЗА*

**Я. Удин**

### **ТРИ ЗАТРАВКИ И РАССКАЗ**

**Преимник**

Из далёкого прошлого всплывает картина. Под высоким навесом два верстака: большой и маленький, верстак деда, верстак внука.

– Вж-жик, вж-жик, вж-жик... – поёт рубанок деда, высекая кудрявую золотистую стружку.

– Фшик, фшик, фшик... – дишканит рубанок внука, вхолостую скользя по доске.

У деда за ухом карандаш, у внука карандаш не держится.

– Что, слаб ухом-то? – лукаво замечает дед. – А ты привяжи чем-нибудь.

– Гы! – показывает розовые дёсны мальчишка. – Гы-гы!..

– А ты забудь про карандаш-то, – серьезнее советует дед. – Забудь про него, о работе думай – и он будет держаться.

Мальчишка замирает, вникая в суть дедовых слов. Рядом с навесом молодая женщина, сидя на табуретке, кормит грудью ребёнка:

– Ешь же, ешь. Ну чего тебе, чего?.. Ох, окаянный, укусил-то как!..

Чуть дальше, под развесистой яблоней, курлыкают индюшки. Теплынь разливается кругом. Пахнет спелым белым наливом.

Скоро им приносят чай под навес. Они садятся с разных сторон маленького верстака. Дед и внук располагаются друг против друга. Неспешно пьют чай. Дед курит. Кошка, чёрная, но три ножки в белых чулочках, и кончик хвоста белый, и одно ухо, кошка резвится на сухом кудрявом ворохе – шуршит стружками. Дед пьёт чай очень горячий и совсем без сахара.

– Что ты никогда сахар не берёшь? – спрашивает внук. – Экономишь?

– Не привык, – просто отвечает дед, пыхнув густым клубком дыма. – Отродясь без сахара обходился. Да и не было его.

– Как не было? – удивляется внук. – Ни вот нисколечко?

– Ну, – кивает дед. – Тогда много чего не было. А соль и керосин на верблюдах привозили.

О верблюдах мальчишка слышит впервые.

– А как это? Как? – загорается он. – Расскажи, а?..

– Ну, известно как: среди бела дня ездили по селу на верблюдах и кричали: «Ай дуз-нефт алан, ай дуз-нефт алан!..»

– А много верблюдов было?

– Кто ж их считал. Пять, шесть – целый караван. Отец мой всегда брал меня к каравану. Сам-то слепой был, без меня ни шагу, бывало, не ступит. А так детей к верблюдам не подпускали.

– А отчего он, отец твой, ослеп? – допытывается внук. – Или слепым родился?

– Нет, что ты, родился он зрячим. Охотником был первейшим, зверя ли, птицу единым выстрелом клал. А глаза на войне вытекли, на первой мировой. Но, несмотря на это, женился на девушке, которую с детства в семье сношенькой звали, на нареченной то есть. И если жену он и помнил, какая она была, то детей своих никогда не видел. Бывало, погладит меня по головке – а я в ту пору совсем мальцом был, вот навроде тебя, поерошит мои вихры и говорит: волосы, как у меня, мягкие, а лицом похож ли – Бог тебя разберет.

Внук силится и не может представить деда мальчишкой. Старик тем временем продолжает:

– Вот был у нас осёл, кто-то ему уши отчекрыжил...

– Кому? Ослику?

– Ослу, ослу, – говорит дед. – Плохих людей и тогда хватало. Кто-то со зла отхватил уши бедняге, и с обрезанными ушами, изувеченный, он прожил еще восемнадцать лет. Все в округе знали его и жалели, и проклинали того изверга, что искалечил Божью тварь. Потом, помнится, осла пристрелили,

старый он стал, немощный, изработался весь, и вот порешили, чтобы не мучился...

Глаза мальчишки блестят – жаль ослика. Он переживает, слушая, впитывая каждое слово, и ещё не сознаёт, конечно, что память деда исподволь становится его памятью...

## **Буйволы**

Разомлевшая от жары пара тягловых буйволов прохлаждается в загаженном водоёме. Животные привычно отдыхают себе, почти полностью погрузив тяжелые тела в грязную воду. Одни лишь рогатые головы торчат над затянутой зелёной ряской поверхностью. На широком лбу одного буйвола, между мощными чёрными рогами, суетливо скачет трясогузка. Иногда буйволы мотают головой и громко фыркают ноздрями, и тогда трясогузка отлетает куда-то, но вскоре возвращается обратно и всё что-то выклёвывает в жёсткой шерсти животного. Даже на приличном отдалении от водоёма резко пахнет характерным запахом буйволов.

Мальчик томится в плотной тени раскидистого грецкого ореха, от нечего делать лениво наблюдает за буйволами и трясогузкой. Больше ничего интересного окрест не видно. За линией тени орехового дерева весь мир плавится в спящем мареве. Тягучей смолой тянется время, и вскоре сомлевший от жары мальчик незаметно для самого себя проваливается в сон, привалившись спиной к комлю дерева. Часа через два примерно, наконец, буйволы шумно, с чмоканьем копыт, оскальзываясь короткими ногами, выбируются из воды. Мальчик с трудом разлепляет веки и видит, что буйволы отряхиваются от влаги, налипшей ряски и, опустив огромные головы, начинают щипать траву, поматывая куцыми метёлками хвостов. Мальчика снова засасывает разморённая сладость душного сна.

Но буйволы недолго пасутся под палящим солнцем. По своей природе они обычно кормятся по вечерней прохладе или даже ночами. Так что очень скоро они забредают в тень орехового дерева и ложатся на землю недалеко от мальчика. Эдак все трое очень долго перемогают жуткое пекло. Мальчик иногда просыпается весь поту, задрав грязноватую зелёную майку, размазывает испарину по лицу, как сквозь пелену замечая, как буйволы безмятежно жуют вечную свою жвачку, но вскоре опять забывается липким сном.

Лишь ближе к сумеркам мальчик отгоняет буйволов к арбе возле дома колхозного возчика, с помощью того же возчика запрягает и трогается в путь. Движения буйволов неспешны, кажутся даже неуклюжими. Но мальчик знает, что так они ходят всегда, не стоит ни понукать, ни тем более хлестать по спинам гибким прутом, всё равно рысцой не побегут. Такие прихотливые это животные. Арба почти вся деревянная, сработанная без единого гвоздя или какой иной железной части, кроме, конечно, тускло лоснящихся ободков высоких колёс. Деревянная ось опять плохо подмазана, истошно взвизгивает

на всю округу. Мальчик с деланной досадою на лице издаёт необходимый окрик «Ооо-а!» и буйволы покорно останавливаются. Мальчик деловито снимает с боковой грядки арбы широкий буйволиный рог с разведённым хозяйственным мылом с торчащей изнутри мочальной кистью, молодецкато спрыгивает на землю и начинает тщательно подмазывать ступицы оси.

За этим занятием и оставим мальчика, поскольку за давностью лет запамятовал, по какой неотложной нужде и, главное, куда он правит арбу пред сгущающимися лиловыми сумерками.

## Сумах

Родовой наш дом – три комнаты в ряд и две веранды: одна с торца перед большой комнатой, другая, поменьше, перед средней комнатой. В большой комнате все мы и жили в детские мои годы: пятеро детей и мать. А моя бабушка, мать нашего больного отца, на всю жизнь угодившего в психиатрическую лечебницу, одиноко обреталась в средней комнате с малой верандой, наглухо заколотив межкомнатные двери. А самая дальняя от нас третья комната в те времена была ещё нежилой, не до конца отделанной. Но в данном случае речь не о том. Сейчас я просто вспоминаю, как в студенческие годы приезжал домой на побывку и как по утрам, едва заслышав мой голос и поняв, что я встал, бабушка начинала нетерпеливо колотить кулаком в дверь, что означало, что она ждёт меня к завтраку. Обычно это повторялось изо дня в день, сколько бы я ни гостил в родном доме: каждое утро я непременно завтракал с бабушкой и на её половине. Наверное, следует уточнить, что с таким ревностным радушием бабушка привечала только меня, старшего внука, первенца рода, к тому же уже студента – надежду всей семьи.

Я выходил во двор, проходил какие-то восемь-десять шагов, поднимался по трёхступенчатой лестнице на веранду и, толкнув дверь, оказывался в бабушкиной комнате. Посреди стола в закопчённой сковородке уже шваркала неизменная яичница-глазунья из пяти яиц. На плоской тарелке два белых пупырчатых солёных огурчика в красноватых разводах от винного уксуса. Графинчик с таким же белым огурчиком внутри, залитый алычовой водкой, да старинная гранёная стопка. Рядом выдавший виды ножичек с тёмной деревянной рукоятью, с истончившимся лезвием и тут же тяжёлые вилки с непомерно длинными зубьями. Ещё на одной тарелке две варёные куриные ляжки, аппетитно исходившие парком. Домашней выпечки мягкие румяные лепёшки. Блюдец с жёлтым комочком свежего коровьего масла, на вкус чуток с кислинкой, но с очень приятным запахом. Солонка с перечницей и отдельная махонькая посудинка из дерева с моей любимой приправой – красновато-бордового цвета крупно молотым сумахом. В наших краях сумах используют в основном как приправу для подачи к столу наряду с солью и перцем. Для тонкого, изысканного вкуса им обычно посыпают блюда из рыбы, птицы, мяса, риса, равно как всевозможные салаты и бобовые; иногда

его используют и для маринования шашлыка. Также на столе красуется стеклянная вазочка с айвовым вареньем с полупрозрачными розоватыми дольками в янтарном сиропе или кизилловым вареньем с ярким тёмно-красным цветом и ярким же терпким вкусом. Глубокая глиняная сахарница с мелко колотым сахаром – чай на моей малой родине пьют исключительно вприкуску или с вареньем. Два грушевидных разлтых стакана-армуды на блюдечках с двумя чайными ложками. Да поющий свою монотонную песенку самовар во главе стола с маленьким фарфоровым заварочным чайником на макушке.

Вот и вся картина моего с бабушкой завтрака во всей красе и незабвенности. Теперь бабушки лет тридцать как нет живых, и самого дома в том виде давно нет, мой младший дядя, живущий в одном южнорусском городе, поехал в родное село и продал две трети дома, оставив всем остальным одну комнату с торцовой верандой, и когда начинаю думать о бабушке, почему-то в первую очередь вспоминаю сумах с кисловатым, слегка вяжущим, но не резким приятным вкусом.

## Дар

Георгий встал, потянулся долговязым, нескладным телом и сладко зевнул. И Луиза, взбивая подушки, складывая простыни, подумала, что она счастливая, что ей очень повезло с мужем. Не раз она пыталась разгадать, объяснить себе, чем же он так ей нравится – и не могла. Что муж хорош, было настолько для неё бесспорно, что объяснить не удавалось. Георгий мог подолгу сидеть на одном месте, с улыбкой смотреть на жену, крупную, полную и ладную, стройную в своей полноте, в цветастом просторном халате, смотреть и улыбаться, как будто ему не верилось, что такая роскошная женщина – его жена. Луиза часто вспоминала случай на пляже, когда к ней подошла пожилая женщина и с приветливой, доброй улыбкой сказала: «У вас, милая, хорошая, счастливая семья. Так что будьте внимательны, берегите своё счастье». Луизе, помнится, понравились эти слова, до того понравились, что стыдливо-радостное смущение охватило её душу, и чуть было до слёз не растрогалась она...

– Ну, Георгий, господи! – нетерпеливо, как бы даже сердито воскликнула Луиза. – Как ты слушаешь?.. Ну, такая светленькая, с моего участка... Да, хочет с нами поехать.

– Хорошо, пусть едет, – согласился муж, потом прошёл в другую комнату и стал будить детей. – Руслан, Милка, вставайте.

Георгий был немногословен, всё больше молчал, добродушно улыбаясь, но если с чем не соглашался, то не соглашался открыто и твёрдо, и это – вот странное дело – сближало Луизу с мужем, то есть она любила в нём эту – как бы сказать – незлую, сдержанную твердость; бывало, в чём-то муж не уступал ей, и она обижалась, переживала, но в то же время знала, подспудно чувствовала, что, будь он помягче, сговорчивее, податливее, она

не так любила бы его. Правда, иногда Георгий становился весел, громко смеялся и шалил, как мальчишка, и это детски-шаловливое настроение шло ему и тоже нравилось Луизе.

Убрав постель, Луиза вышла во двор и, осмотревшись вокруг, с удовольствием отметила, что всюду чистота и порядок. На столе под инжировым деревом шумел самовар, зеркально сверкая боками. Солнце стояло ещё низко, но уже ощутимо припекало. Жара набирала силу. Нужно попроворнее собрать завтрак, накормить детей и мужа и пойти к отцу в больницу. Он давно ждёт, бедненький, все глаза высмотрел, наверно, дочку дожидаясь. Надо поспешить.

Георгий уже возился в сарае, что-то насвистывая, тюкал молотком – верно, мастерил наружную телеантенну, которую задумал установить на крыше. Георгий вообще часто пропадал в сарае. Он работал на железной дороге, сутки работал, трое бывал дома, и когда бывал дома, без дела не сидел, все что-то строгал, пилил, мерил, шлифовал, склеивал, красил, покрывал лаком. Вот дом из трёх комнат, отдельная пристройка – кухня, рядом с кухней – баня, рядом с баней – уборная, а в доме шкафы, книжные полки, столы, стулья, кресла, сервант – всё это сделано его руками.

Руслан и Милка, заспанные, вялые, выбрели во двор, начали умываться. Луиза знала, дети смоят с лиц остатки сна и сразу же развеселятся, резвиться начнут, подгонять её с завтраком. Она немножко умилилась, думая о детях, нежно порадовалась. Что ж, кое-что она успела в жизни. Окончила техникум, вышла замуж, вот дети подрастают, хорошие дети – грех жаловаться (тьфу, тьфу, тьфу – как бы не сглазить), на работе тоже всё слава богу, уважают её – уже мастером назначили. Остается жить и радоваться мелочам, потому что из них, мелочей, всё и складывается, вся жизнь, судьба. Конечно, так ясно и чётко думать она не умела, но чувствовала, каким-то чутьём догадывалась, что в жизни не бывает мелочей, что всё, что ни происходит с человеком, очень важно, значительно. Обычно Луиза даже о том, как плов готовила, рассказывала с таким удовольствием, будто это было редким, удивительным событием в её жизни.

Милка умылась, с полотенцем в руках подбежала к маме и, поигрывая плечиками и бровями, – в шесть лет кокетка кокеткой, – сказала:

– Ну а скоро мы соберемся к бабуле, а?

– Вот те раз! Ты же только вчера спрашивала об этом.

– Давай мы с Русланом одни поедem, мамка, а вы с папой потом приедете. А, мамка?..

– Поедем все вместе, через две недели.

– У бабули уже груша поспела, мамочка!..

– Сказано, нет – значит, нет.

– Видала! Говорил тебе, что глупости болтаешь? – с высоты своих девяти лет рассудил Руслан. Потом спросил у матери: – Мам, я пойду с тобой к бабушке?

– Пойдешь, если после завтрака мигом соберешься.

– Я шустро, мам.



– Я тоже пойду, мамка, красивая ты моя, я тоже!.. – вертлявая, хитроглазая, подластилась было Милка, но Луиза, придав голосу строгость, урезонила её:

– Сегодня, кстати, твоя очередь полы мыть. Забыла? Ты займёшься полами, а папа сходит на кладбище.

– Тогда с папкой на крышу полезу. Вот посмотришь...

– Полезай, если не боишься лужу под собой наделать, – рассмеялась Луиза громко, с удовольствием.

А Георгий, выйдя из сарая, пообещал:

– Вечером все вместе поедem в город, кино посмотрим.

И дети с криком:

– Ур-ра! Папка молодец! – кинулись к нему, повисли на шее.

Каждую субботу Луиза навешала отца в больнице, а Георгий в это время ходил на могилу матери. Сама Луиза на кладбище навещалась редко. За семь лет жизни вместе она не видела от свекрови ничего хорошего, и теперь душа её была спокойна: ни злой памяти, ни особой печали не таила в себе. Свекровь, за какие-то спекулянтские дела отсидевшая солидный срок, с самого начала невзлюбила невестку, невзлюбила зло, обходилась с ней грубо, и другая на месте Луизы, давая отпор старухе, выказала бы всю свою молодую прыть, но она, как могла, подлаживалась, всё переносила с редкой в наше время выдержкой – потому что свекровь была матерью любимого мужа. Старая была недоверчива, нелюдима, дика и – самое главное – скупа до смешного. Чай, сахар и прочие продукты свекровь запирала в громоздкий сундук, а отдельный электрический счетчик был предметом чуть ли не каждодневных её сомнений, переживаний, кривотолков, хотя каждое утро перед уходом из дома аккуратно заклеивала кружочками бумаги розетки в своей комнате...

И непонятно, каким чудом Луизе удалось, претерпев все эти жестокие нелепицы, не озлобиться, не растерять самое себя. Более того, никто со стороны не догадывался, каково ей приходится со старой, домашние разговоры оставались дома, и если, случалось, заходил разговор о свекрови с кем-либо из соседей или родственников, Луиза обычно отделялась шутками. Малость самолюбивая, чуткая ко всякому мнению окружающих о себе, она даже перестирывала постельное бельё свекрови: бывало, старая кое-как простирнет, вывесит во дворе на стыд и срам, на суд-пересуд людской свои грязные, мутно-серые простыни, а невестка следом же соберет всё это тряпье и выстирает вновь, выбелит как следует...

В лёгком белом сарафане, с белым же платком на плечах, с плетёной корзиной в одной и с дамской сумочкой в другой руке, Луиза вышла за ворота, постояла, чему-то радуясь и поджидая Руслана. Черные её глаза, большие и чистые, без грустинки, с тихой улыбочивой задумчивостью глядели вперед – и казалось, она что-то приятное вспоминала, но что именно – ей самой навряд ли было понятно. Она часто ловила себя на таком вот беспричинно-радостном раздумье, смысл которого не могла постигнуть; да

она, впрочем, особо и не копалась – хорошо было на душе, и всё: что еще человеку нужно?..

Выскочил Руслан в белых шортиках и голубенькой футболке. Став рядом с матерью, он вытянулся на носочки, вскинул над головой ладонь козырьком и горделиво отметил:

– Мам, я уже тебе по плечо – правда?

– Да, сынок, правда, – всё ещё улыбаясь, согласилась Луиза. – За год ты, конечно, здорово вымахал. Приедем к бабушке, там тебя никто не узнает.

– А я с собой клетку повезу, птичек буду ловить у бабули, да, мама? Можно, мам?..

– Можно, можно. Пошли, сынок, а то деда заждался нас.

И они тронулись, зашагали по узкой улице мимо высоких каменных стен справа и слева, гладкие серые бока которых время от времени сменялись раскрашенными в яркие цвета железными воротами. За воротами стояли дома, добротные, высокие, с застеклёнными верандами.

Солнце поднялось довольно высоко и уже нещадно палило – обычное летнее утро на Апшероне. В эту пору всегда здесь жарко, душно, и если дует ветер, свежести он почти не приносит, неоткуда: кругом знойная пыльная равнина и солёное море, сплошь истыканные нефтяными вышками. А наверху, над головой, водянисто тёк, зримо струился раскаленный воздух, маревом размывало там голубизну неба.

Сперва нужно было заскочить на рынок, купить для отца фрукты, потом сигарет взять на неделю, пачек двадцать, не меньше, – как-то взяла всего десять пачек, и отцу до следующего её прихода не хватило, окурки стал подбирать.

Скоро они вышли на главную улицу посёлка, по одну и другую сторону которой сплошной цепью тянулись магазины, ларьки, палатки с прохладительными напитками, парикмахерские, будки сапожников, – на улицу с её вечно спешащими толпами, неуёмным сверканием машин, шумом, грохотом, вонью выхлопных газов. Хоть и на самой окраине города расположен этот посёлок, но бывает шумен и многолюден так же, как и центр столицы. Мимо шныряли люди в кепках-аэродромах и косынках, в шляпах и с красивыми причёсками, несли авоськи, корзины с разной снедью, фруктами, зеленью; робко, часто останавливаясь, остерегаясь ошалело спешащих прохожих, куда-то добирались древние старухи в чёрном долгополом одеянии, под ногами чинно, не обращая никакого внимания на окружающую кутерьму, прогуливались тучные голуби.

Было время, Луиза, уроженка тихого села, всего этого боялась. По улицам ходила, прямо держа спину, нервно напряженная, отчего потели ладони. Но с годами у неё выработалась привычка растворяться в людском потоке, и походка её сделалась легкой и плавной, хоть и шагала по-прежнему быстро, стремительно. Теперь чем больше народу на улицах, тем свободнее, спокойнее, увереннее себя чувствовала и, заглядывая в лица идущих навстречу людей, любила гадать, добрый, злой ли тот или иной человек, куда он идёт, если домой, то какая у него семья, есть ли дети, и о чём они дома

говорят, ссорятся или дружно живут, где собираются провести отпуск. В своей жизни ей нравился каждый пустяк, завтрак или ужин за красиво убраным столом в тени инжирового дерева, поездка в город за покупками, разговоры и приготовления к будущему отпуску – все это нравилось ей, доставляло удовольствие, и она пристрастилась воображать, додумывать, как всё это складывается у других людей...

Руслан, шагая рядом с матерью, вертел головой по сторонам, всё его радовало: и витрины магазинов, и автомобили, пижонисто разукрашенные владельцами. Вокруг столько красивого, яркого, что глаза разбегаются и пунцово горят щёки. И он иногда вскрикивал восхищенно:

– Гляди, какая машина, мам! Ух ты, как на повороте визжит!

И мать, улыбаясь какой-то своей мысли, спокойно взглядывала в ту сторону, куда взмахом руки показывал сын, и шла себе дальше. И Руслан, на миг посерьезнев, говорил:

– Вот вырасту, выучусь на шофёра и буду ездить на красных «Жигулях». Нет, не на красных, а на зелёных, перламутровых. А мам?.. Да, мам?

– Конечно, сынок, конечно.

Они добрались до крытого рынка, из которого, как из улья, доносился глухой непрерывный гул. И гул этот всякий раз напоминал Луизе одну картину детства.

Ей три года, она одна во дворе. Напевая что-то, играет в классики в тени грушевого дерева. Вдруг какой-то странный, тягучий гуд доносится с неба, заставляет её остановиться, перестать прыгать да скакать. Она выбегает из-под дерева, взглядывает вверх. Прямо над ней, на фоне голубого неба (небо детства всегда голубое!) летят пчёлы. Их видимо-невидимо, и летят они плотной, тёмной, похожей на стрелу длинной полосой. Испуганная и очарованная одновременно, она замирает на месте и не знает, что делать: то ли забежать в дом, спрятаться под кровать, то ли наблюдать за пчёлами дальше. Тем временем нарождается другой шум, он надвигается понизу, через соседские дворы. Ватага мужчин, женщин и детей, задрав головы и стуча ложками, вилками, ножами или чем-то ещё, подвернувшимся под руки, по ведрам, мискам, тазикам, сковородкам, и стремительно перемахивая плетни, заборы, гонится за пчелиным роем, гонится и стучит, колотит, гремит, отчего в воздухе стоит оглушительный металлический звон!..

Звон этот должен был остановить, посадить на какую-нибудь ветку удиравший из улья рой во главе с маткой, как узнала Луиза намного позже. Она хорошо помнила и любила эту вроде ничем не примечательную картину укрощения пчелиного роя.

Отец уже расхаживал перед беседкой, томился в ожидании. Он помнил, что дочь ходит к нему по субботам, и обычно ждал её с самого утра. Он не заметил Луизу с Русланом до тех пор, пока они не подошли к нему вплотную и не поздоровались:

– Здравствуй, папа.

– Здравствуй, деда.

– А-а, пришла? – вздрогнув, сказал он и мельком, без интереса глянул на них.

Опустив корзину на землю, Луиза хотела было обнять и поцеловать отца, но он, как всегда, не дался, резко отстранившись, коротко обронил:

– Давай, что принесла.

И, подхватив сумку, проворно зашёл под навес беседки, сел на скамью и, зажав корзину между ног, стал вынимать и складывать на столе всякие кульки, пакеты, кастрюльку с горячим обедом достал, две румяно пропечённые лепёшки – всё, кроме сигарет.

– Как у тебя прошла неделя, папа?

Он не ответил. Казалось, он не слышал и, пожалуй, даже не видел её, хотя и смотрел в упор. В его взгляде не было ни радости, ни любопытства, ни горечи, ни какого-нибудь желания, не было и тьмы безумия в этих глазах – в них как бы навсегда застыло напряженное усилие вспомнить что-то.

– Папа, я спрашиваю, как у тебя прошла неделя?

Он даже головы не поднял, снял с кастрюльки крышку, взял ложку и торопливо начал есть. Теперь уже нельзя было задавать никаких вопросов – отец не любил, когда его во время еды тревожили, приходил в раздражение от малейшего пустяка и запросто мог встать и, не простившись, уйти в палату. Луиза всё как следует разложила перед отцом – фрукты убрала подальше, овощи и хлеб пододвинула поближе, потом, как всегда, села напротив и, подперев ладонями щёки, с грустью стала смотреть, как отец ест. Он был худ, почти тощ, плечи острые под больничной пижамой, с острым же подбородком бледное лицо, руки тоже худы, а длинные пальцы с жёлтыми, прокуренными ногтями мелко трясутся, дрожат. Луизе хотелось, чтобы отец хоть раз вскинул глаза, посмотрел на неё, улыбнулся и спросил о чём-нибудь, поговорил с ней. Но этого не было и не будет, отец далёк от неё, от её мыслей и желаний, от её печали, как, впрочем, и от всего в этой жизни.

Отец вдруг отложил ложку, резко привстал, взял кулёк с черешней, набрал целую горсть ягод и отправил в рот.

– Папа, ты сперва поешь хорошенько, – мягко заметила Луиза. – Фрукты после.

– А! – отмахнулся он, выплевывая в ладонь косточки, и взгляд его светло-карих глаз при этом, как всегда, блуждал в какой-то глубине, точно отец всё никак не мог вспомнить что-то очень важное.

– Appetit ведь перебьёшь.

– А! – уже раздраженно повторил он.

И Луиза больше ни слова не вымолвила. Она посмотрела на Руслана. Ребёнок сидел рядом с ней и, подавшись вперёд, наблюдал за низкорослым больным, который наперевес, словно винтовку, держа какую-то палку, вышагивал взад-вперед у входа в корпус, – вышагивал, маршировал, глядя прямо перед собой, ни на кого не обращая внимания.

– Не смотри туда, Русланчик, – сказала Луиза.

И ребёнок, отчаянно покраснев, отвернулся.

Отец, доедая обед, снова заработал ложкой, низко склонив голову над кастрюлькой и шумно чавкая.

А вокруг беседки уже крутились больные в таких же, как и отец, пижамах, они подходили близко, заглядывали внутрь, и, не видя на столе сигарет, интересовались:

– Эй, Таджари, тебе что, курева не принесли?

– Нет. Нет! – поспешно и испуганно отвечал отец. – Вот еды много, иди поешь.

Но поесть никто не хотел.

Луиза знала, что отец жаден до сигарет, и обыкновенно при нём никого не угощала. А после его ухода доставала припрятанные несколько пачек, распечатывала и раздавала по две-три сигареты. Жалко ей было этих людей так же, как и отца, и что она для них могла сделать ещё?..

Руслан молча, задумчиво смотрел перед собой. Казалось, ребёнок понимал и пытался осмыслить болезнь деда. Раньше Луиза не брала детей в больницу, боялась поранить их неокрепшие души, но потом как-то подумала, что и так дети растут без особых забот, беспечно и что будет лучше, если с самого детства узнают всё о своих близких, о своём роде – от этого, от знания всей правды о своих предках, никто ещё не помер, зато дети сызмала проникнутся чувством, что в этой жизни не только радости, а и печали, неизбежной скорби есть место...

Отец отодвинул от себя кастрюльку, взял большую, янтарно поспевшую, насквозь светящуюся грушу и вонзил в неё зубы: две струйки сока поползли по его подбородку. И, видя это, Луиза вспомнила своё село, родной двор, над которым горделивым великаном возвышается грушевое дерево, вспомнила и невольно улыбнулась, и подумала, что любит это дерево, каждое лето обламывающееся под тяжестью плодов, любит и свою память, сложившуюся в тени этого дерева, и свою мать, вечно хлопотавшую, творившую будущее своих детей под этим деревом, любит и бабушку, и своих братьев и сестер, и племянников, любит дни, которые со своей семьёй проводила под этим деревом, и те, которые ещё проведет.

– Папа, ты помнишь наше грушевое дерево? – спросила она.

Отец не удостоил её взглядом, молча доел грушу, сыто и рассеянно похлопал ладонью по животу, икнул, вздрогнув всем телом, потом нагнулся, прямо в корзине распечатал пачку сигарет, достал одну, и, воровато покосившись направо-налево, зажёл спичку, прикурил.

Луиза грустно и сочувственно покачала головой.

– Папа, скоро в отпуск домой поеду, – сказала она, сказала только о себе, в единственном числе, потому что он не знал и не хотел знать, что дочь замужем, растит двоих детей; он вообще ни о ком из родственников никогда ничего не желал слышать. – Что передать нашим? Что сказать маме, бабушке, а папа?

Он опять не ответил, лишь что-то невнятное хмыкнул.

– Папа...

– Что от меня хочешь, э-э? – разозлился отец, порывисто поднялся и вышел вон из беседки. – Что от меня хотят, э-э-э! – не оборачиваясь, досадливо кинул он куда-то вверх, в пространство, и поспешно, большими шагами удалился, скрылся в корпусе.

Догонять его не имело смысла – Луиза это знала и поэтому даже с места не двинулась. Сердце, однако, сдавило. Нет, всё-таки тяжело... невозможно, ну никак нельзя к этому привыкнуть, ходи сюда хоть каждый день. Луиза быстро встала, начала убирать со стола, чтобы как-то отвлечься, успокоиться. Ты это что ж, укорила она себя, что разволновалась-то так?.. Не впервой ведь...

– Я врачом стану, мам, – тихо сказал Руслан.

Луиза едва взглянула на ребёнка, не до него было.

– Я обязательно врачом стану! – чуть громче и как бы даже с вызовом повторил Руслан.

И до Луизы дошло, она поняла сына, поняла и отвернулась от него, чтобы скрыть выступившие на глаза слёзы.

– Теперь, Русланчик, нам нужно зайти в один магазин, – сказала Луиза, когда больница осталась далеко позади.

Сын промолчал, пребывая в какой-то не по-детски печальной задумчивости. И ей стало стыдно, что так скоро она забылась и уже хлопчет о другом, мелочном. Всегда было так: стоило отойти от больницы, ей становилось легче. Иногда казалось: не ходи она к отцу каждую субботу, дольше держалась бы в ней печаль. «Что ж теперь делать, если я такая ветреная? – подумала она. – Нарочно, что ли, мучиться?» Бывало, люди удивлялись лёгкости, с какой Луиза воспринимала самые печальные вещи, и в такие минуты ей становилось неловко, стыдно. Но проходило очень немного времени, и она забывала свой стыд и неловкость и опять смотрела на мир чистыми, беспечно-счастливыми глазами. С течением времени ко всему привыкает человек. К тому же отцу ничем уже не сможешь, а им нужно жить дальше. Им нужно жить, растить детей и постараться быть счастливыми. Когда ты счастлив, и другим с тобой хорошо. А отец обречён всю жизнь пребывать в своей болезни. Не болезнь в нём, а он – в болезни. Куда только не возили, каким только врачам не показывали – всё бесполезно. И домой забирали не раз и не два, но больше месяца никогда не удавалось держать его дома – среди близких людей болезнь отца резко обострялась: буйным он становился, непредсказуемым и страшным. Да и в лечебнице он ни с кем не желал видиться, никого, кроме Луизы, не признавал...

Они молча брели к торговым рядам. Вдали высоко над двух-, трёхэтажными домами золочёный полумесяц мусульманской мечети поблёскивал, горел в жарких лучах солнца. Летний день до ярости накалился, и стены домов казались такими белыми, что больно слепили глаза. Пахло пылью, разогретым асфальтом и близким морем, сонное, ровное дыхание которого скорее угадывалось, чем слышалось. Людей на улицах стало намного меньше, машин тоже, и стало гораздо тише, полуденная лень сморила всё живое вокруг.

Мало-помалу Луиза стала думать о завтрашнем дне. Завтра исполнялось десять лет, как они с Георгием познакомились. А увиделись они впервые необычно. Луиза тогда едва окончила десятилетку, готовилась поступать в техникум и часто сидела за столом под грушевым деревом, листала учебники. А пора стояла дивная, лета середина, ветки груши прямо обламывались под тяжестью поспевших плодов. Время от времени Луиза отрывалась от учебников, поглядывала на огрузлые ветки, и рот её наполнялся сладкой слюной. К стволу грушевого дерева была приставлена длинная лестница, и Луиза, бывало, не утерпев, поднималась до нижней ветки, садилась, свесив ноги, на эту ветку, срывала и ела грушу. Но всегда ей казалось, что самые спелые, сахаристо-сочные плоды висят выше. Однажды она решила взобраться на самую верхушку дерева. И начала карабкаться от ветки к ветке. Ей было страшновато, конечно, вниз старалась не смотреть. Когда она наконец поднялась довольно высоко и, одной рукой крепко обняв ветку, другой потянулась к приглянувшейся груше, вдруг на вершине соседского тутового дерева увидела незнакомого парня. Тот сидел себе на развилке тутовника и во все глаза разглядывал её. В первую секунду от неожиданности она ойкнула и чуть было не сорвалась, не полетела вниз, потом, ещё крепче уцепившись за ветку, стыдливо одернула платье и невольно рассмеялась. Парень тоже улыбнулся и приветственно махнул рукой, и Луиза растерялась – то ли от смущения, то ли от другого какого чувства, но она смешалась и отвернулась и больше не глянула в его сторону. Хотя он, чувствовала она, неотрывно смотрел на неё, и почему-то была уверена, что он все время улыбается. А вечером того дня у родника они познакомились...

Интересно, помнит ли он сам об этом? – думала теперь Луиза. Вернее, запомнил ли, в какой день, какого именно числа произошло это? Или, может, по всегдашней своей забывчивости запомнил? Впрочем, даже лучше, если он забыл. Сейчас она подберёт ему подарок – и как удивит, как обрадует его!..

Луиза шла, улыбаясь немудрёным своим мыслям, и ей казалось, что так хорошо у неё на душе никогда раньше ещё не было. И сама же дивилась тому, как, в сущности, немного нужно человеку для счастья.

Руслан все ещё шагал с понурым лицом. Луиза остановилась и, достав из сумочки платок и утерев разомлевшее лицо, спросила:

– Ты что сегодня такой квёлый, Русланчик?

Ребёнок по-взрослому грустно пожал плечами.

– Не печалься, сынок. Что мы в силах сделать?.. Такая уж болезнь...

Руслан понятливо закивал головой, и они зашагали дальше. Проходя мимо какого-то строящегося дома, Луиза вспомнила, что её брат Абрик тоже строит дом и что – как она слышала – у него большие трудности с этой затеей. И, вспомнив это, она подумала и решила, что необходимо поговорить с мужем и немножко помочь брату с деньгами. И, думая о деньгах, она вспомнила покойную свекровь, которая, как говорили хорошо знавшие её люди, имела их, денег, предостаточно, но после смерти старой, сколь ни

рылись в её хламе, тряпье, ни единой копейки не нашли. Интересно, кого из дружков-спекулянтов осчастливила старуха?..

Скоро они дошли до торговых рядов. Пропустили хозяйственный магазин, продовольственный и зашли в подарочный. Народу почти не было – так, один-два человека неспешно расхаживали по залу. Продавцы, сплошь мужчины, без дела сидели за прилавками, пили чай и тихо, лениво переговаривались между собой. Луиза пока не знала, что именно она купит, с озабоченным лицом переходила от прилавка к прилавку, приглядывалась, приценивалась. Всякого яркого, броского товара было много, но что-то ни на чём взгляд не останавливался.

– Затрудняетесь с выбором, сестрица? – внимательно посмотрев на неё, спросил молодой продавец с полным ртом золотых зубов и услужливо встал.  
– У нас можно купить подарок к любому случаю.

Луиза, отчего-то смущаясь, краснея, сказала:

– Знаете... мне бы мужу подобрать что-нибудь такое...

– У вашего мужа день рождения, сестрица?

Она отрицательно тряхнула каштаново отливающими короткими волосами.

– Защитил диссертацию? Пошел на повышение по службе?..

– Нет. Такая... чисто семейная дата.

– Отлично! Могу предложить на выбор газовые зажигалки – фирменные и отечественные, серебряные портсигары, запонки, галстуки, электробритвы разных марок...

– А надёжные эти бритвы? – спросила она.

Продавец нырнул под прилавок и достал чёрный кожаный футляр.

– Вот, пожалуйста, отличная техника. Забот не будет знать ваш муж. У меня у самого такая же.

– А в какую они цену?

– Двадцать восемь рублей, сестрица.

Луиза посмотрела на Руслана.

– Ну как, сынок, возьмём?

– Папа же такой не бреется.

– Ну и что? Не бреется, так будет, – сказала Луиза и пошла платить.

И продавец, подавшись вперед, выгнув шею, проводил её взглядом...

Потом они вышли из магазина, ещё немного походили, купили свежих сосисок, набрали горячих лепёшек и направились к себе домой.

Душа Луизы совсем очистилась от печали, навеянной посещением отца. Она ликовала, думая о том, как обрадуется муж. Она зримо представляла, какая застенчиво-радостная улыбка вспыхнет на лице Георгия. А как светел, чист будет взгляд его табачного цвета глаз! Муж вообще очень трогательно принимал подарки: краснел, терялся и бывал безмерно счастлив – и в эти минуты он как-то удивительно дорог и близок становился Луизе, – и она любила ко всем праздникам, памятным датам делать ему подарки. Да, но до завтрашнего дня он ни о чём не должен догадаться.

– Русланчик, ты пока не говори папе о бритве. Ладно?



Руслан вяло качнул головой, оглядываясь по сторонам, и Луизе стало немного обидно, что сын даже не поинтересовался, мол, по какому случаю купила бритву. Но потом увидела, что ребёнок просто устал и еле поспевает за ней. Ходила она, несмотря на полноту, расторопно, к тому же всякий раз, приближаясь к дому, сама того не замечая, ускоряла шаги, шла всё быстрее и быстрее. Но ничего, сейчас они придут домой, примут прохладный душ и, свежие, чистые, сядут за стол под инжировым деревом, станут пить чай, и усталость как рукой снимет. Она так подумала и вдруг почувствовала, что во рту пересохло, прямо всем ртом – нёбом, горлом, языком, губами – ощутила вкус крепкого горячего чая и прибавила шаг, совсем заспешила.

Вскоре они вышли на свою улицу. И издали увидели свой дом, одноэтажный, небольшой, с застеклённой верандой, плоской крышей, он, казалось, выделялся в ряду других домов – правда, непонятно было, чем.

Милка с Георгием стояли на солнцепеке возле ворот. Милка обняла отца за талию, он положил руку ей на плечо – так, в обнимку, стояли отец и дочь, своих поджидали.

Вдруг Милка сорвалась, побежала навстречу. Георгий тоже дёрнулся было, подался вперед, но вовремя одумавшись, удержался – и лицо его расплылось в улыбке.

Луиза радостно замахала рукой. Она подходила к дому, чувствуя невыразимую нежность в душе.

*ПОЭЗИЯ*

**Марина Бирюкова**

## СТИХОТВОРЕНИЯ

\*\*\*

Боярышник, боярышница, славка,  
я не могу воспеть вас, почему?  
Как будто я у сельского прилавка  
и потрошу лоскутную суму:

за чудо платят, мне ль не знать об этом?  
Но не застряло денежки во шву,  
и вот, живу я в мире невоспетом....  
В каком я мире, Господи, живу!

В нем дерево, и бабочка, и птица –  
такие, что достойно их воспеть  
возможно только чудом, и не медь  
нужна была бы, чтобы расплатиться.

Спасибо, что по бедности моей  
сказать о них дано мне нынче даром:  
о дереве боярышника старом,  
о бабочке и птице меж ветвей.

\*\*\*

Оставим фотоаппараты –  
пустую нашу суету,  
и просто очень будем рады  
тому, что яблони в цвету.

Смиримся с тем, что это будет  
лишь день-другой, благодаря  
за каждый час при этом чуде,  
тогда и дни пройдут не зря.

Ведь, как ни жаль нам цвета сливы,  
одним развеянного днем,  
но снимки Рая не спасли бы  
нас от беспамятства о нем,

коль не спасает от безверья  
иных туринский негатив.  
...Все это знаю лишь теперь я –  
постигла, съемки прекратив.

\*\*\*

Шишка еловая в талом лесу,  
ты мне отрада и даже награда,  
нет, я домой тебя не унесу:  
знаю, что этого делать не надо.

Вот, на исчерканный птицами снег,  
под материнскую хвойную лапу  
я возвращаю тебя, и ослабу  
чувствуют нервы: удался побег,

прошлomu плен я оставила свой –  
трогаю мягкую смолку и хвою...  
Я и себя ведь вернула живую  
в мир нерастасканный, цельный, живой.

\*\*\*

*(прощание с Оптиной пустыней)*

Сосну-струну колеблет ветер:  
всходящий рокот, гул и стук;  
я жду автобус на рассвете:  
очередная из разлук.

Но с чем — и что навек со мною?  
Чем я бедна и чем полна?  
Над монастырскою стеною  
стоит закатная луна.

А птахи гнёздышки нагрели —  
лишь эти звуки в тишине.  
Ствола немислимые трели  
теперь иных нужнее мне.

В мои паломничьи заметки:  
дойдя страдающим стволом  
до самой чуткой высшей ветки,  
моим становится псалом.

И я в лесу рассветном росном...  
А что же ветер? Нет, постой:  
ведь он затем сосне и послан,  
как нашим душам Дух святой.

\*\*\*

Остатки снега, черная листва  
и крохотные желтые цветы.  
А что же я — участник торжества,  
свидетель чуда, зритель красоты —

при виде их, дрожащих на ветру,  
не воздаю хвалы за них Царю?  
Так, не воздав ни разу, и умру...  
Боясь того, с собою говорю:

«На лилии похожи, посмотри,  
цветок, пожалуй, миллиметра три  
в диаметре. Роскошный желтый цвет...»  
С венца творенья толку нынче нет,

но я ведь помню, помню — там, в Раю...  
Слаба, как запах первого цветка  
во мне о Рае память, но пока  
пытаться жить, как там, не устаю.

\*\*\*

У нас, ровесник, будущего мало,  
к нам зачастило прошлое теперь;  
чего со мною только не бывало –  
и я всему свою открыла дверь.

Чему служили, как мы, друг мой, жили –  
не зря всё это разом на порог...  
Сегодня все принять нам надо, или -  
солгать себе; а завтра только Бог.

\*\*\*

Знаю, что ни угол, то сверчок  
в доме вашем, тихом от потерь,  
на чугунный кованый крючок  
заперта теперь уж ваша дверь.

Вижу полку с плотным рядом книг,  
на зеленой скатерти очки...  
Тем, кого вы ждете каждый миг,  
не помеха стены и крючки.

Но, увы, – живому не дано  
говорить с бессмертной душой.  
За тяжелой шторой окно –  
мир за ним совсем уже чужой.

А сверчки упрямо тарахтят,  
потому что, друг мой, не хотят,  
чтобы вам была она страшна,  
в доме вашем добром тишина.

\*\*\*

Медный ключик, жесткая пружинка,  
трудный поворот по часовой...  
Это музыкальная машинка,  
номер исполняющая свой.

Сколько лет ей!.. И всего одна в ней  
музыка. Однако я весьма  
прилежу утехе стародавней;  
для чего же – знаю ль хоть сама?

Против часовой она вращает

ключ завода, нотами звеня,  
возвращает – или обещает  
к давнему вернуть сейчас меня,

к радостному, доброму, простому...  
Замер ключ. Последний звук погас.  
Заведу еще раз, и не раз...  
И пойду однажды, вставши, к дому.

\*\*\*

Дружило с небом дерево одно  
и облака особенно любило,  
а нижней веткой трогало окно  
и жаркий свет на зайчики дробило,

преображая комнату игрой  
своих теней. А в тихий день осенний  
листвой обмякшей пахло и корой,  
и так вошло в число моих спасений.

Их было много, потому что Бог,  
не торопя далёкого прозренья,  
спасал меня тогда, чем только мог:  
от паутинки до стихотворенья.

Я всем жила, и деревом – пока  
оно не стало дымом и золою,  
пока оно ловило облака,  
сдавалось ветру, плакало смолою.

Пока оно оберегало дом,  
пока пила сверкала и свистала,  
пока оно лежало... И потом –  
пока его Творцом я жить не стала.

\*\*\*

Ржавая сетка окна –  
вся в голубой паутине,  
солнце, шагнувшее к нам  
в комнату, посередине  
тёплой дорожкой легло,  
ярко-желта половица,  
тенью по комнате птица...  
Что же, и здесь тяжело?

Коль не приму я всего,  
 что происходит со мною,  
 сколько ни ездю в село,  
 не исцелюсь тишиною,  
 садом и домом своим,  
 легче б не стало и в Риме...  
 Господи, если и примем,  
 долго ли в том устоим?

### **Синица**

Унывать нам с тобой не годится:  
 так звенит она, так хороша  
 эта неутомимая птица!  
 От печали и страха душа

исцелима любовью, с которой  
 и малейшее сотворено;  
 это малое помощью скорой  
 для меня уже стало давно.

Миром я лишена была доли,  
 кто же спас меня и прокормил?  
 Отпускавший синицу с ладони  
 в новосозданный радостный мир.

\*\*\*

Штапель новее, чем вытертый плюш –  
 мишка в заплатках сидит на буфете –  
 что он для наших загадочных душ?  
 А для него мы по-прежнему дети.

Счастья ли ищем, беду ли зовём –  
 лапы расставил старик-медвежонок,  
 оберегая нас, небережённых –  
 или беспомощно ими развел?..

Но не убрать ли подалее с глаз  
 этого зверя? Любовью своею  
 слабыми, право, он делает нас...  
 Разве что сделаться мудрой сумею.

\*\*\*

Желтея трухлявой своей древесиной,  
 под нашим окошком лежало бревно;

подарено маме соседкою Зиной,  
пилы и печи избежало оно.

Весною пошло оно в доброе дело:  
усвоившей буквы, понравилось мне  
крошить его хрупкое рыжее тело,  
гнилушкою мягкой писать на стене.

И все было правильно – даже ошибки,  
и все были рады – коза, воробьи...  
Забуду ли тёмные доски обшивки  
и охристо-рыжие буквы свои?

А позже меня подломило и сбило,  
и стали беспомощны правила, но –  
не мне ли на счастье нетленное было  
даровано это гнилое бревно?

*ПРОЗА*

**Валерий Володин**

## **РАССКАЗЫ**

### **Призрак возраста**

Неужто скоро весна? Хочется пышного ликования, высоких припрыжек и чтобы женщины прилетели с юга.

Уймись, старый осел! Изношенный песок сыпется вовсю из тебя, а ты всё – прыжки да припорхи да тучные стаи щебечущих женщин. Твое дело – усыпать личным песочком тихие сквозные аллеи, ведущие к одинокому особняку на закате. Твое время – вечер, осень и пора уходящего солнца. С ними обращаться теперь бережно, осторожно и уже заискивающе, как поневоле, вроде б помимо себя, заискиваешь перед напорающими в тылы чужеватыми поколениями. Твоя самонадеянность далеко в прошлом. У твоих полетов улетучились крылья. Да и не к кому стало что-то лететь. Скучный вечер и смутная осень все чаще будут оставаться твоими единственными скучающими с тобой собеседниками, с которыми обречен вести черствеющий на глазах разговор, забываясь иногда и глубоко за полночь, вздрагивая от рассвета как от внезапной враждебной местности, где неизвестно как очутился.

Где-то затерялся мой одинокий, весь из тишины выстроенный особнячок на склоне заката? Или его нигде нет и не может быть? И на его месте лишь звеняще пустеет отсутствие, всё сияющее, всё багряное от

зашедшегося в закате солнца... обождите, не истерика ли с солнцем случилась? Но отчего? Ведь такая стоит тишина...

### **Благоденствие**

Люблю это непомраченное слово, мгновенно протягивающее тебе долгий покой, ясный простор. Люблю это слово не меньше, чем то, что оно выражает, что мглился и брезжит за ним. А может, и больше – за обещание того, что так редко бывает: счастливо безмерная долготы многих обеззобленных дней. За волшебное внушение прекрасных ожиданий. За то, что не объять, не изъяснить тайную, невозвеличивающуюся душу этого слова. И кажется – все остальное, что не есть это слово, лишь суета сует, пустота пустот. Кажется – его бы хватило на все про все, да не умеешь пронизательно внять неоглядной щедрости этого слова. Его бы одно написал, и больше ничего писать никогда не надо. Оно любит создавать иллюзию, будто всё ты выразил сполна и себя самого изъяснил вчистую. Такое уж это слово большое. Не меньше, чем весь остальной мир. А может, и значительно больше, если учесть незримое и Бога, которые в нем всегда пребывают, пронизывают его ощутимо, солнечно – вечно.

В благоденствии – умиротворенный недвижимый час летнего полдня, когда в обмершем от зноя доме такое таинственное уединение, такая роскошная расчудесная лень и такое звонкое, но как бы незнакомое поговаривание крови в ушах, что кажешься себе кем-то прекрасно вымышленным, чьей-то осеняющей тебя добросклонно фантазией, благодаря которой жив во сто крат больше, чем обыденно жив... Впрочем, все уже порчу внеполдненным избытком...

Сколько будет дней благоденствия на этой печально неблагонадежной земле? Спроси у благоденствия, оно знает, возможно, будущую безвестную радость, нимало не ведая о грядущих бедах, как о лишнем, о чем знать – пусто. Только откуда добыть благоденствия, кроме благоденствия, запрятанного в самом этом слове? Как спросить у того, что отсутствует? Моя скудная, изредевшая жизнь, – особенно на просвет бедных лет видно, как она изредела, – на меня огорчилась и который уж год неприступно молчит, тихомолком меня отрицая. Как презрительно, уничтожающе молчит она мне в ответ! – я не так ею распорядился, как ей бы хотелось, я использовал ее не по назначению, она просочилась, как вода сквозь неумные, гиблые пальцы...

Увы, я и моя жизнь – это далеко не одно и то же, ведь во мне существует страшная громада смерти и прочего-всякого, что жизни чуждо и неприемлемо. Мы с моей якобы личной жизнью давно отдельные сущности отдаленной степени родства и стремимся быть наособицу, что, конечно, нас обоих не красит... Дай же помощи мне и спасения. К тебе обращаюсь, благоденствие, и к частичке Бога в тебе. Целый Бог от меня уже, видимо, отвернулся... Ну за что Ты, Боже, я не все ведь еще согрешил. Ты успел бы в



большем гневе от меня отворотиться. Ты бы смог меня оставить в наилучшей беде.

### **Еще раз сто лет одиночества**

Я ехал в утреннем автобусе беззимним, слякотным, очень-очень поздним, предельно поздним ноябрем. Я ехал по какому-то окружившему отовсюду окончанию жизни. Все за окном напрочь отвергало меня, все там, в раскисшей серости, выглядело ужасно не мной. Такого отсутствия себя со стороны давненько не бывало, – обычно я там как-нибудь мелькал перед своими глазами, чем-нибудь сказывался, хотя бы краешком качнувшегося в ветвях ветра, тут же дрогнувшего бы и во мне. Но сегодня за окном я всюду исчез. Мне казалось, что меня никогда не бывало. Лишь мертвенный безответный город протекал в ровной смутности, подражая никудышной осенней реке, заболевшей свинцовой немочью, изборожденной неизлечимой печалью.

Но что-то случилось во мне от моего непоправимо перестаревшего одиночества. Взгляд скользил по громаде строящегося дома, который зиял черными дырами окон – глазами самого вселившегося там неуютю. Что-то в этом неуютю строящегося, временно разоренного дома и спасло меня. Я вдруг понял, я озарился отчаяньем, что надежнее всяких надежд: вытерплю! Дай мне сто лет непроницаемого одиночества – вытерплю, перемогу. В абсолютно непрозрачной и оглушенной темнице сто лет абсолютного одиночества – я найду о чем перемолвить этот запертый в камеру век, это ставшее мне тюрьмой время. Медленно оно перемелется медленными жерновами неутюмимом вращающихся во мне слов, не знающих сносу.

Я ощутил прилив многих сил небывалых. Я знал – теперь сломить меня ничем невозможно, по крайней мере, ничем из того, что пыталось сломить прежде – и надламывало иногда. Отныне и каменную стену перемогу, глядя на нее в упор век – не слишком-то долгий и страшный в одолении предмет. Словно я сам стал таким веком. И подвигающееся немота за немотой молчаливое общение с любым другим веком, подсунутым мне для терпения, отведенным для ста лет одиночества, с любым таким же точно, как и я, веком пойдет теперь на равных. Мне нечего уже бояться чудовищного преобладания вечности над собой.

### **Пронырливая случайность**

Звонит поздно вечером в мое стоматологическое укывище, где я обитаю сторожем, и прямо с объятий мне начинает непревзойденным этим любящим голоском нащебетывать: “Ну, здравствуй, солнышко мое! Вот я и приехала”. И так далее столь же прекрасно.

Я ошарашенно слушаю. Я онемлен чудесною немотою. Не соображу никак – кто это? ну кто же, Господи Боже ты мой? Кто ты – та, чьи слова столь бесценны? Из каких омертвелых уголков моей жизни явилась, возвратиться сумела? Из праха лет каких и событий ты легко так восстала? – голос твой живо и незнакомо бьется в трубке, утопая в восторге и потопляя, обнимая своей чистой, рвущейся мне навстречу так ясно, так самозабвенно любовью. Кто ты, моя мгновенно родная, одним прикосновением речи светлой твоей – любимая?

Я корю себя за собственный порок затрудненного узнавания чьих-то знакомых по отдаленности голосов. Я успеваю лихорадочно и потерянно спросить себя – кто же это, случайная, еще может в жизни моей остаться, откуда-то извлечься, чтоб без длинных начал, приступая прямо к объятьям, солнышком своим назначить меня? Ум мой начал потихоньку мутиться – ему блаженство противопоказано. Как мало же, оказывается, ему надо, чтобы обольститься, перевернуться, сладкой смутой вдруг быть!

Только вот так уж сразу и “солнышко мое”, это опасно. Это грозит непредсказуемостью, невосполнимой тратой надежд. В “солнышки мои” я, кажется, давным-давно не гожусь, так как из разряда солнц и даже зимних лун вроде отчислен: был, да весь вышел... Осталось – и сказать неловко – что, лучше бы такое никому и не оставалось.

Речь ее льется, трепещет, обволакивает – не остановить мне никогда тот поток, никогда... Я стою близ него очарованным странником, потерявшись странствовать дальше.

Наконец с темным озарением понимаю – этого милого голоса, знакомого только прежними милостями, я никогда не слышал. С ним я не был знаком – с ним, этим редкостным существом, с голосом женщины, разговаривающей со мной по телефону, незнакомой со мной еще более, еще далее, чем ее далекий голос, чем ее существо, которое она выпустила и с такой любовью в меня впустила. Тут с солнышком с той стороны явная вкралась ошибочка. Пытаюсь вклиниться как-нибудь в обволакивающую меня с ног до головы противоположную речь, но потоком нежности меня легонечко, как пушинку, сносит обратно в любимые. Нежность ее не допускает меня нежность ее утратить. Вот стою на каком-то пустом берегу, весь в объятиях, весь из милостей незнакомой женщины, созданный целиком из ее поцелуев... Просто сам не свой – но, Боже мой, как это приятно! И улыбка моя сейчас – тоже наверняка вся из нее, из каких-нибудь неизвестных ее жестов, из пары особо любимых ее слов, из одного ее, может быть, вздоха и полувзгляда... Как отрадно, как неповторимо чудесно состоять из чужой любви, принадлежа ей полностью, безраздельно!

И все же говорю, воровато вкравшись в поток, – вы, вероятней всего, ошиблись, но мне очень приятно слушать то, что вы сказали и говорите. Вы говорили всё правильные слова. И про себя добавил: до ужаса точные. Объясняюсь, что я не солнышко никакое. Ну, может, в глубине души и считаюсь, и даже пребываю немножко солнышком, только я, к великому моему сожалению, не то солнышко, за которое меня сейчас усиленно

принимают. Хотя, конечно, быть солнышком, которое распространяет она на меня, вряд ли бы кто отказался. Поэтому пусть уж я буду немножко и вашим сияньем, раз так получилось.

Женщина до маленького безумия хохотала и, конечно, по-прежнему счастливо. Как же я так попала впросак?! – сказала. – Звонила одному, а получился другой... И спросила, ну как же так мог выйти у меня ошибочный номер? Это нелепость какая-то, ведь набрала я все верно. И где ж это мой дружочек-то прячется? – сказала. – За этим номером вместо вас должен быть он... Или вы должны быть им, – чуть было мне не услышалось.

Я послал ей через расстояние недоуменное пожатие плеч. Она мне сквозь похрипывающие и похрустывающие километры посылала и посылала растерянную, взгрустнувшую вдруг улыбку. Клянусь, и я, и она – мы оба все это видели. Мы оба как-то знали об этих наших прозрениях, неизвестно почему, но они случились, неизвестно почему мы знали об этом, знали точно и накрепко, каким-то знанием, от нас не зависимым, может быть, и принадлежащим-то нам один-единственный раз в жизни, а теперь – обоюдно совпавшим. Мы так ясно вдруг увидели нас в наших взаимных видениях, в ясновиденьях невтопад. И так хорошо было видеть друг друга издали, из невероятного отчуждения расстояньями и полной, кромешною незнакомостью. Прощаться никому не хотелось, но следовало. Ну, незачем из-за меня так недоумевать, – сказала. – Сама я во всем виновата, вечно чего-то напутаю. Не стоит и пустяка вся эта история... Незачем вам улыбаться так грустно, – сказал я. – И ни в чем-то не виноваты вы, это что-то другое за нас напутало... Потом от растерянности среди замечательных ее слов я начал мямлить что-то другое, чего бы никогда говорить не надо. Но женщина простила меня мгновенно, и несурязица моя где-то тотчас же потерялась, даже во мне от нее не осталось и крохотного полуследочка.

Женщина извинилась за свою заблудившуюся речь. Но я отвечал, что прощенья просить тут совершенно ведь не о чем, то предельно хорошая речь, обзавидоваться можно на того, кто так говорит и кому услышать такое. Всякому лестно солнышкино выслушивать. Вы сказали всё правильные слова, правильной, наверное, ничего не бывает. Вот и мне ни за что перепало немножко, погостил я случайно в ваших волшебных словах... Я, пожалуй, украду для себя ваших несколько слов, чтобы пользоваться ими, когда захочу, если будет недоставать чего-то... (Да сияний же, ведь сияний!)

Все опять повторялось, но это был прекрасный и неповторимый повтор. Хотелось, чтобы он длился и длился. Чтобы всю жизнь не кончался. Но и повтор уже подошел к своему краю, за которым кроется дурная лишь бесконечность.

На том и распрощались мы славно. Женщина все напоследок смеялась от личной ошибки и горячо, с искренностью как-то большей, чем искренность, пожелала мне того, что она не тому случайно сказала. Я поблагодарил и с такой же искренностью, превышающей всякую искренность, пожелал ей удачно найти того, кого она безрезультатно пока теряет. Он непременно найдется, сказал я, ваши слова непременно его

найдут. От таких слов никому не спрятаться, никуда. На такие слова сами, голубчики, готовы выбрести отовсюду. Женщина наградила меня последним своим смехом, который был как воочию серебрист и намного больше, чем женский смех.

Через несколько десятков секунд вновь звонок. По каким-то неизъяснимым его особенностям, по доверительному и проникновенному тону, с каким он звучал, я уже несомненно знал, что это опять она, точно женщина передала звонку часть своего голоса, самую лучшую, самую сущностную. В голосе телефона была очень большая крупца ее, этого совершенно неизвестного мне человека. Звонок явственно звучал ею, звал к себе ее нетерпением, о котором я не имел никакого представления, которого не знал, но все равно уверен был: это ее, ее нетерпение, ни на чье иное оно не похоже. “Ну, здравствуй, солнышко мое! Вот я уже и приехала...” – но голосом уже чуть посуше, голосом, немного израсходованным на прошлое и малость надорванным состоявшимся полминуты назад ошибочным счастьем. Но смех в ее голосе еще клокотал, совсем недавно отсмеявшийся, упокоившийся смех, наш смех, хотя один бы я сейчас узнал, различил в том голосе смех, верней, его несмолкшее эхо, присутствие таких разных и противоречивых излетевших теперь смешинок, составляющих ее великолепно огромную озвученную улыбку, обворожительный живой слепок отсутствующего ее лица, – призрачный-призрачный след с внезапной безуминкой хохота.

“Простите, – сказал я, – но это опять я. Вы вновь на меня попали. А в какой город вы звоните?” – “Ой, это опять вы... Вот странности-то... Я в Улан-Удэ звоню. Из Орла. А что, разве это не Улан-Удэ?” – “Вы извините меня, но я – Саратов”. – “Как – Саратов? Откуда – Саратов? Господи, чудны твои дела! Вы уж простите меня. Я все время набираю Улан-Удэ, а получается почему-то беспрерывно Саратов. Да что же это такое? Прямо беда... Вы не сердитесь, пожалуйста, на меня, я ведь ничуть не нарочно... Что-то удивительно непонятное происходит. А ваш саратовский номер точно такой, по какому я звоню?” Я назвал. Он был тот же самый. Все совпадало единица до единицы, только города в цифирки эти не попадали, не влезали. Хотя, отчего-то казалось, могли бы и попасть, это казалось легко и просто, только города попались какие-то несговорчивые, уклончивые. Вредноватые это были города. Вести себя не умели. Ну хотя бы ради приличия совпали. Хотя бы на несколько мгновений. Чего им стоило? Сделался бы Улан-Удэ на минутку Саратовом, не убыло бы ведь от него. А потом бы снова стал сам по себе, будто ничего и не бывало. Но нет, не дожدهшься. Потому что упрямые были города, все три, один другого упрямей. И затаившийся Орел, пусть и тихоня, но не менее упрям и уклончив. А ему бы тоже не помешало на полминутки побыть Саратовом, совсем бы не помешало. Женщина также, похоже, сожалела об этом несдвжимом безумии городов: как возьмутся быть одним-единственным городом, так хоть ты расшибись, а не подвигнешь какой-нибудь обрюзглый, вечно всем недовольный Усть-Кирдык пусть для пробы стать мимолетным Парижем, а Париж сделаться на мгновенья,

скажем, Аткарском иль Аркадаком, где мелькнет ненарочно совсем Монпарнас. Монпарнаса, что ли, жалко на пару секунд? Во Франции исчезновение его на столь короткое время никто и не заметит, он порядком там намозолил глаза, Монпарнас. А в Аткарске иль Аркадаке он тотчас бы стал украшением мгновения.

На том конце бесконечного провода женщина тихонечко привздохнула от невозможности расстояний и вредности городов, не желающих на время стать друг другом, на самое малое время, чтобы только успели люди встретиться и перемелькнуться. Вздохнула грустно, устало от странности своих непопаданий. Недостигаемость любимого человека становилась опасной. Она разрасталась. Она обволакивала и меня, наделяя опасностью и какой-то хронической, непреодолимой отверженностью своей. Мне грозила теперь некая вечная недостижимость. Но эта женщина была не виновата. Она не виновата была ни в чем. Было здесь виновно что-то постороннее – неузнаваемое, неуловимое. Какой-то сумрачный дьявол тайны тут вертел. С некоторым налетом тепла и грусти мы попрощались, как бывшие любовники, немного уставшие один от другого. Чувство еще сохранялось, где-то в глубине тлело, но была эта необъяснимая усталость. Она мешала. Она все поглощала. Если бы не она, можно свободно длить отношения, все предпосылки к ним есть, все основания еще не порушены. А пока следовало крепко отдохнуть друг от друга. Разъехаться на неопределенное время по разным, не пересекающимся местам, где не будет никого знакомого, ни единого из прошлого лица.

Через какие-то жалкие полминуты – новый поворот судьбы, все более непредсказуемой. И все более, по всей видимости, пропащей. Вернее, пока лишь становящейся пропащей, неостановимо устремляющейся к таковой, хотя неизвестно, где она, эта пропащая судьба, что она, да и может ли судьба лихо так раздваиваться, будучи одновременно пропащей и непропащей? Тогда к чему же стремится еще недопропавшая судьба, думая, что она направляется к судьбе как бы вконец пропавшей, дабы взять с нее весьма странный пример, обрести в ней образец для отвратно исчезновенного подражания? Что-то неладно стало у нас этим вечером с направлением судьбинных движений. Вот он, новый поворот судьбы, все более непредсказуемой, по всей видимости, склоняющейся охотно к пропащей: в третий звонок и в третье “ну, здравствуй, солнышко мое”, в третье по счету, если отскакивать от нынешнего вечера, “вот я уже и приехала”, – во все это неискоренимо печальное и, надо полагать, напрочь последнее третье я просто-напросто молчком кладу трубку вежливо обратно – я, до всех пределов растерянный и точно бы начисто обокраденный, свирепо, казалось, обманутый во всех своих лучших прижизненных ожиданиях. Страшно вежливо, даже ужасающе вежливо кладу трубку. Запредельно вежливо делаю то же самое. Соблюдая прохладную церемонию вежливости в царском варианте ее исполнения – так освобождаюсь от трубки. До мелочных пунктиков и до распоследних последков убивая, изничтожая вежливость, избавляюсь от проклятья телефонных вторжений, от проклятья телефонных

проклятий – я не буду, не хочу больше никогда говорить по телефону, говорите сами, если уж так вам нравится, если так вам зачем-то надо... Так вежливо, предупредительно прибирают приготовленный к смерти корабль – перед тем, как его затопить.

Я честно был вежлив. Упрекнуть меня не в чем. Долг вежливости выполнен до конца. И вот я уже среди своего молчания, поначалу кажущегося чистым и непревзойденным, царствующего вольготно во мне и в тишине позднего, никчемного вечера. Оно выглядит отдохновением, крупной передышкой перед всем крупным будущим и друзьями его неразлучными – туполобыми трудностями и неудачами.

Гиблое, однако, молчание.

Гиблая и тишина.

Давайте дружить семьями.

Это что ж получается – гибл и я?

Было бы чем хорошенечко прибить себя, прибил бы без промедления. И не задумался бы даже над глубокими судьбами своей глубоковатой судьбы.

Но у нас в стоматологической поликлинике, как на грех, ничего тяжелого не бывает. Не зубо-врачебным же креслом себя сплеча садануть. До утра инвалидом быть трудно без скорой помощи. Только собственной же кровью весь обстрекаешься и помещения многие напрасным струеньем изгадишь. А с утра уж поперет клиентура. Ей и дел никаких мыслить нет до того, что здесь случилось, лишь бы чистенько было и в зубах не навязло чего-то. Лужи красненького на полу, труп развязный при них клиентуре честнОй совсем ни к чему. Лучше детектив почитать по излеченьи зубов и по установке достойных имИджу имплантантов. Там трупы лучше. Благообразием от них так и веет. Детектив между тем тоже благоухает, не забывает этим делом заниматься, в долгу у читателя не остается, так как свои кровные он заплатил.

Но вернемся к печальному и немного обратному. Тем более что надо же всегда куда-нибудь возвращаться. Возвратимся на сей раз к женщине, которая только что покинула нас, будучи только что взаимно покинутой. Мы были равны в наших покиданиях, но я казался себе покинутым больше. Возможно, у женщины сложилось точно такое же впечатление по отношению к себе. Так что истины невозможно было найти – кто ж на самом деле из нас покинут?

Мне страшно жаль эту мою-не мою женщину за ее жалкие промахи, за ее жалкие ошибки. Но мне ее жаль и как-то иначе – все в этой жалости по-другому. Мне жаль ее более крупно, чем жалкая жалость за недоразумения ее неузнавания, за торопливые броски ее подслеповатой нежности, за слишком быстрый любовный резон, за поспешные ее объятия ниоткуда – и ни к кому, потому что ведь я для нее не должен быть кем-то. Мне убийственно для себя жаль ее, вот оно что. словно я прожил с ней долгую жизнь и сгубил ее жизнь. Вот как жаль. А значит, это чувство – скорее вина и непоправимость. Это чувство – невозможность ничего-ничего исправить. Все погибло для

этой женщины, все погибло во мне для спасенья ее, и я не знаю теперь, как быть мне. Как быть с таким непомощным и бесполезным самим собой, который сгубил женщине жизнь и не может ничего поправить. Все рухнуло, обвалилось в напрасное прошлое, все стало одной-единственной руиной былого, все обернулось одними развалинами и призраками – и ничему нет и не будет возврата. Про себя глубоко внутрь я виновен, сплошь заросший виной, как бедой.

Так казалось отчаяньем.

Я корил себя всякими правильными и неправильными словами за то, что нежное и доверчивое счастье той женщины никак не может, не умеет найти приюта сегодняшним вечером, как будто именно я, и никто больше, был в этом виноват, нехорошо умышлен. Оно опасно заблудилось среди других людей, в том числе и среди никчемного меня, который это счастье окончательно заблудил, увел почти злонамеренно с сердечных ее дорожек совсем-совсем не туда, куда приводить его следует. Или это сошел с ума одичавший втихаря телефон, свихнувшись окончательно на трудновообразимых расстояниях? Мне страшно неловко, мне просто бедово пред той незнакомой женщиной, поникше стоящей сейчас пустым своим образом, лишь жгучим сгустком укора в моем представлении ее, пред той женщиной с очевидно пресветлым, до самого чиста пробирающим и очень-очень кого-то неведомого любящим голосом. Да, за этот голос – все отдать. Мне немножко – так как мое самолюбие перетягивает ведь на мою сторону – обидно за того любимого ею человека (как бы меня, малость меня), так и оставшегося сегодня напрочь не признанным и опасно, очень незащищенно пребывающего таковым. Долго ли будет он оставаться ненайденным? Долго ли быть ему исчезновением – чтобы вне ее любви продержаться и окончательно не пропасть? Не заблудится ли безнадежно это хрупкое, сбивчивое, полуслепое вечно и вечно бродяжное счастье в поисках его и его несчастливой пропажи?

К утру следующего дня я вконец уверяюсь, что это именно мне женщина звонила – женщина, которую, возможно, я некогда знал (а может – и нет), с которой был, вероятно, хоть мельком знаком (а может – и не знаком). Разницы между былым знакомством или незнакомством не было уже никакой, всё едино, из прошлого струит какая-то однообразная и очень несправедливая одинаковость. Но все правильные ее слова принадлежали теперь безраздельно мне, были целиком и точно по одному моему, по разъединственному адресу. Ну не болван ли, не отменный ли идиот? И где отныне искать ту женщину, теперь уж утраченную на никогда, затерявшуюся гораздо крепче того, чем ее не было в жизни моей? И кто она? Господи – кто? Впрочем, это тоже почти несущественно. Главное, что она была, вернее, уже есть. Это самое главное, что вчера вечером с нами случилось. Значимее этого ничего не быть сможет. Благодарю, благодарю, благодарю ее виртуально, в распахнутое настезь в туман октябрьское окно. Всем отчетливо ставшим вдруг виртуальным сердцем своим разлетевшимся благодарю.

Вот и день отуманенного октября сегодня какой-то совершенно последний. Что может быть последнее 31 октября? Только совсем уж никудышный ноябрь, который ни на что не годится, лишь на махонькую, еле мерцающую жизнь-пустышку. Это даже трудно назвать жизнью – то, что происходит с нами в ноябре, в самой угрюмой и нелюдимой норе года.

Спасибо тебе, дальнее солнышко мое. Ты украсила, ты смягчила, ты развеяла мой всеместный ноябрь. Теперь-то уж он наверняка не наступит...

Ну, здравствуй, солнышко мое! Вот и я тоже приехал... И где-то даже приплыл...

Не напрасно сегодня с утра купил я много мятных коврижек – рука сама излишек понабрала, рука уже подспудно все про нас знала и позаботилась для двоих. Будем сейчас, солнышко мое прежнее, незакатное, пить неторопкий всегдашний наш чай с утренними коврижками, от которых дыханье свежо. Их на двоих как раз хватит, должно хватить непременно. Только чайник пойду вскипячу. Ты присаживайся пока где удобно. Как с дороги ты сильно устала! Под глазами круги... Милая-милая! Насколько ж ты мне родная... Вот нельзя же не спать всю-то ночь... Хоть бы пару часов, а вздремнуть надо было. Ты откуда вернулась в туманное утро мое? Из какого нашего года, из каких нерастратных наших потерь? Я забыл. Все забыл. Ты прости. Ах, да, точно, точно, как же так я запамятовал! – мы пьем чай сквозь тополиный июнь 1976 года, даже утро во многом такое же, погляди... тебя чаще всего зовут, наверно, Ирина... Вон смотри – накрапывает опять прошлый дождь, как похож на тебя он неуследимо! Он похож... А воробьи-то, воробьи какие прежние! Как и не умирали. И с чего они устроили такой переполох? С чего б им быть сегодня такими живыми?

**Юрий Никитин**

### **ИСПОВЕДЬ СТАРОГО ОЧКАРИКА**

Самое важное для охотника прикладистое, кучно бьющее ружьё, – так скажет большинство. Меньшинство: бутылка горькой крепкой, в качестве лекарства от простуды. Ещё меньшее меньшинство: покладистая жена, что без ругани отпускает на охоту. Легашатники будут уверять, что самое важное не ружьё, не бутылка, не жена, а – собака. И будут правы, потому что на утиную охоту можно вообще отправиться без ружья и патронов, хорошо работающий пёс натаскает тебе подранков вагон и маленькую тележку. Я же, поскольку у меня седина не только в бороде, но и в бровях, буду стоять на том, что главное для охотника – зрение! Видел кто-нибудь когда-нибудь слепого охотника? Нет, конечно. Зато очкариков полным полно.

Я сам недавно был очкариком. Плохо это. О том, что плохо, я смолоду понял. Как-то целой компанией приплыли мы на гулянке на волжский остров. Командовал нами, молодыми, хозяин лодки – охотник старый, заядлейший, но уж очень мелкого роста, про таких говорят: метр с кепкой. А



под кепкой выцветшие голубые глазки за стёклами выдавших виды очков: дужка замотана изоляционной лентой, правая заушина родная, из нержавеющей стали, а вместо левой он надевал на ухо петлю из рыболовной лески. Из-за этих его очков мне та утиная охота и запомнилась. На вечернюю зорьку он привёл нас на своё секретное место, где, сказал, уток хоть палкой бей: длинное, неширокое и неглубокое болотце посреди просторной поляны, заросшей травой по пояс. Это нам по пояс, а ему до самой шеи. Так вот, налетает на старика крякаш, он вскидывает ружьё – бабах, и селезень падает шагах в двадцати у него за спиной. Дед разворачивается, несётся к своей добыче, потом вдруг исчезает. Пять минут нет, десять, пятнадцать. В яму, что ли, какую провалился? В общем, вернулся он без своего крякаша, и уже у костра ругмя-ругал деревенских мужиков за то, что не скосили траву на поляне. Я, говорит, направление засёк, куда селезень упал, рванул, ну а ноги в траве заплелись, упал, и очки соскочили и куда-то улетели. Ружьё тоже уронил. Сначала стал очки искать. Ползал-ползал, нашёл, слава богу, потом ружьё – тоже, слава богу, нашёл. А когда встал, то все направления потерял: где крякаш, где болото?

Спустя годы, я тоже стал очкариком. И хоть рост у меня не метр с кепкой, но на заушины всегда надеваю цепочку – мало ли что. Однако даже когда они не сваливаются с носа, всё равно плохо. Стоишь, допустим, осенью в камышах, вдруг тучки набежали, мелкий дождичёк посыпал да с ветерком. А головой-то всё равно влево-вправо, вверх-вниз крутить надо, чтоб уток не прозевать, тут даже при длинном козырьке капли дождя всё равно попадают на очки. Стоишь и то и дело стёкла протираешь. Однажды при таком стоянии у меня даже родилась гениальная мысль: надо для охотников-очкариков изобрести очки с дворниками, как на автомобилях, только маленькие. В нагрудном кармане маскировочной куртки, допустим, микроскопический аккумуляторчик, над переносицей микроскопический электромоторчик, и крохотные дворнички по стёклам очков трык-трык, трык-трык – разве не гениально? Но Кулибиным мне стать не удалось, потому что кто-то мне сказал, будто хитроумные японцы давно изобрели такие очки. А зачем японцам очки с дворниками, ведь среди них нет ни одного охотника, сплошные рыбаки, которым очки без надобности?

Жаль, что я не бизнесмен. А то бы поехал в Японию, загрузил целую баржу очков с дворниками для наших российских охотников, и утёр нос тем, кто возит оттуда подержанные автомобили. Однако вскоре сообразил, что японские очки хороши лишь при дожде на осенних охотах, а при морозе? Когда охотимся на зверя. Обычно лезешь по сугробам на номер, по спине пот течёт ручьями, из-под шапки пар валит столбом. Но вот долез, обтоптал снег под ногами, чтоб не хрустел, встал – стоишь, ждёшь кабана там, лося или волка. Дышать приходится. Обычный человек не обращает никакого внимания на то, какой воздух он выдыхает, зато каждый охотящийся на морозе очкарик знает, что тёплый. Поэтому дышит на номере или косороту или вешает под глаза носовой платок, чтобы пар изо рта или из носа не попадал на стекла. Чуть зазевался – очки тут же покрылись слоем инея: где

кабан? где лось? где волк? – нетути. Мучения, а не охота. Отсюда вывод: к японским очкам надо какой-то русский подогрев придумать. Я, конечно, мужик сообразительный, поскольку живу в век технического прогресса, да и за державу обидно: японцы изобретают, а мы что – хуже что ли? Ну и чего – изобрёл. Правда, показывать стесняюсь, уж очень тяжёлые, – нос продавливается, и уши повисают, как у легавой собаки.

Хотел было усовершенствовать, но тут повсюду реклама пошла: придёте в клинику микрохирургии глаза слепыми, выйдете зрячими! Ах, какой соблазн: стоит поменять хрусталики, и стану всевидящим и в лесу, и в поле, и в камышах. Решено. Но сначала решил подставить под нож левый глаз. В случае неудачи его не так жалко, при стрельбе его всё равно закрывать приходится. Из-за своего левого глаза я однажды с пяти метров промазал по секачу, который был размером с мамонта.

Вот как это было. Мы приехали на охоту в Ягодную Поляну. Перед заходом солнца егерь Никитич отвёз нас, пятерых охотников, к вышкам в лесу. На своих джипах нам бы долго пришлось барахтаться в снегах, поэтому он их забраковал и повёз на тракторе «Беларусь» с широким ковшем, в нём он обычно развозит зерно для подкормки кабанов. Двоим велел сесть на верхний край, троим в ковш, потом включил у себя в кабине какой-то тумблер, и ковш, словно лифт, пополз вверх. В нём Никитич и повёз нас по просекам. На своей поляне с подкормкой из семечек я залез на доску в развилке двух осин. Сел, сижу, жду кабанов. Мороз градусов 25. Пробирает. Но когда появилось стадо, мороз сразу забылся. Малыши-сеголетки кинулись к семечкам, а гиганты стоят на противоположной стороне поляны и громко вынюхивают воздух – осторожничают. Я сижу тихо, дышу косоротом, не шевелюсь, боюсь, как бы доска не скрипнула, тогда они умчатся и – привет охоте. Вижу, два гиганта отделяются от стада и начинают обходить поляну среди крайних деревьев. Идут медленно, идут-идут, постоят, похрюкают, почешутся, будто на них мороз не действует и жрать не хочется. Я опять начал замерзать, но терплю. И вот выходят они на поляну у меня из-за спины, и направляются прямо под дерево, на котором сижу. Вывернув шею, смотрю на них и нервничаю: сейчас подойдут, унюхают, что сверху охотником воняет – табаком, потом, водкой, чесноком – и рванут. Пора стрелять. Стрелять-то стрелять, но стоят они справа, поэтому ружьё надо прикладывать к левому плечу и целиться левым глазом, а этого я не умею. Но деваться некуда – приложился, бабахнул... Да-с, если б плюнул вниз – попал, а выстрелил и промазал.

Короче говоря, лёг в клинику. Ну, анализы там всего, что во мне течёт и булькает, это дело привычное. Испугала меня молоденькая сестричка, когда вошла в палату и сказала нежным голосом: пойдёмте, больной, в процедурную, я уколою вас в глазик. Вот это обрадовала. Мой глаз хоть и неприцельный, но и не задница, которая невозмутима, когда в неё иглой тычут. Однако напрасно я трусил, оказалось, что в ягодицу укол чувствительней, чем в глазное яблоко. Потом эта милая сестричка отстригла мне ресницы на левом глазу и обрила бровь, сказала, что так положено; когда

я вернулся в палату и посмотрел на себя в зеркало, то увидел, что одна половина лица моя родная, а другая — как у Мефистофеля. После всех процедур привели меня в операционную, где холодно было, как в морге. Накрыли какой-то толстой попоной с дыркой для глаза, включили ослепляющий луч, застрекотало что-то вроде швейной машинки, полилась вода через глаз, и весь час, что я лежал на столе, профессор переругивался с ассистентом. По настоящему новое зрение своё я проверил на весенней охоте, когда через степи гусь полетел. Сижу в скрадке час, сижу второй, ноги затекли, да и холодно, а гуся всё нет и нет, ну и решил размять кости. Только вылез из скрадка, только начал возле него прыгать и руками махать, как из ближайших скрадков вопят: дед, нехороший человек, прячься — гуси летят. Верчу башкой: где гуси? какие гуси? — и не увидел, пока они чуть на шляпу не сели. В общем, то ли глаз не подлежал ремонту, то ли хрусталик попался бракованный, то ли у профессора и ассистента руки с похмелья дрожали, — не знаю.

Зато про за границу мне рассказывали просто чудеса: вот в Америке, мол, такие классные глаза делают, что прямо с Земли можно увидеть, как их астронавты по Луне ходят. А в Германии, дескать, в клинику пришёл, в кресло полулёг, новый глаз поставили и говорят: садись за руль и езжай домой. Стал прикидывать: кому довериться — американцам или немцам? И тут в мои гадания вмешался не иначе как высшие силы! Не иначе как с неба свалилась на меня вот такая информация: знаменитый врач и азартный охотник Святослав Фёдоров, когда зрение стало его подводить, лёг на операционный стол и велел в правый глаз вставить дальнзоркий хрусталик — для охоты, а в левый близорукий — для написания рецептов. Вот только ему, решил я, можно доверить мой правый глаз. И поехал в белокаменную к офтальмологу-охотнику.

Ощущение — небо и земля: ни уколов в «глазик», ни стрижки ресниц, ни сбривания брови, ни холода мертвецкой, ни часового лежания под попоной, ни водяного ручья, так — посветили в глаз, поставили техасский хрусталик, наверное, ковбойский, и я прозрел. На радостях сразу выкинул очки в урну. Но, признаюсь, когда посмотрел на себя в зеркало, то маленько стало не по себе: вместо молодого симпатичного лица, какое я привык видеть плохим зрением, на меня вдруг глянула чья-то жутко старая, изрубленная морщинами рожа. Я даже заподозрил, что какие-то службы случайно перепутали операционные и привели меня не к офтальмологам, а к пластическим хирургам, которые меня изуродовали. Потом утешился тем, что хоть и старый, зато косяки гусей и уток, едва-едва появившиеся над горизонтом, буду теперь видеть, может даже лучше молодых.

Был октябрь — птичьи стаи тянули на юг. Мне не терпелось испытать ковбойский глаз на утиной охоте. Но жена встала в дверях в виде распятия и заявила: «Только через мой труп! Ещё даже месяц не прошёл после операции! Тебе ж не велено тяжести поднимать, а лодка тяжёлая, мотор тяжёлый — хочешь слепым остаться?» Женское благоразумие взяло верх: вдруг действительно хрусталик выскочит, тогда прощай гуси-лебеди-кабаны

до конца жизни. И на кой чёрт такая жизнь нужна. Терпения хватило на месяц.

В ноябре северная утка, улетающая перед ледоставом на юг, прощально машет нашему брату крылом, а я что ж – так и не проверю глаз на меткость? Когда жена увидела мои сборы, снова попыталась встать распятием у порога, но в голосе у меня появился металл главы семейства. Тогда она сказала: езжай, езжай, только слепого я тебя домой не пущу. Большую ошибку делают те, кто спорит с женщиной: пустит... пустит и слепого, и глухого, и безногого, и безрукого, лишь бы не блудливого.

Прогноз погоды на день отъезда обещал не только сильный ветер, но ещё и первый мороз – сразу до 11 градусов. Однако температура воды на Волге была ещё плюсовая. Конечно, разумные люди в такой холодрыган да ещё с ветром из-под одеяла бы не вылезли, но мы с напарником верны своему сумасшедствию: вперёд и да здравствует!

Приехали на берег. По заливу ветер гонит волны с барашками, вдоль кромки берега на мелководье лёд. Накачали лодки, подтащили к воде, привернули мою Ямаху, загрузили мешки с чучелами, сумки с патронами, термосами и прочей охотничьей амуницией, сели, поплыли. Лодка напарника скачет сзади на буксире. Плюхаем на малом газу, иначе брызги от волн хлещут через борт. Не отплыли и ста метров, как намотали на винт рыбацкую сеть, в рассветных сумерках ни черта ж не видать. С помощью ножа кое-как освободились. Посредине залива волны побольше, с белыми гребнями, а мы хоть и плюхаем потихонечку, всё равно брызги летят в лодку и на сиденья. Возле камышей заперолись ещё в одну сетку. Напарник опять стал её резать, а поскольку ручка охотничьего ножа покрылась тоненьким слоем льда и походила на сосульку, нож выскользнул из ладони и булькнул в воду. Слава богу, толстые верёвки он успел перерезать, ну а саму сетку просто порвал руками.

Возле камышей он перелез в свою лодку и уплыл. Первое, что я стал делать, так это крышкой от термоса вычерпывать воду из лодки, которой наплескало по щиколотки. Но это пустяки. Неприятно другое: насквозь промокли и ватные штаны, и термостойкие кальсоны и нетермостойкие трусы.

Пока отчерпывал воду и обустроивался, прозевал двух гусей, пролетевших над головой. Но что самое ужасное, мне, оказывается, и стрелять-то было нельзя: мало что стволы ружья были покрыты коркой льда, главное – лёд был и в стволах. Если б не поглядел и выстрелил, то в лучшем случае раздуло стволы. Сломал три камышины, пошмыгал ими в стволах – бестолку, слишком мягкие, чтоб соскоблить лёд. Вот такая невезуха. Уже дома только сообразил: надо ж было сунуть концы стволов в термос с горячим кофе и, когда ледышки растопились, выстрелить — ружьё б пыжами прочистилось. Но, когда утки не летают, а сидишь на компрессе, мысль одна: надо сматываться.

У напарника штаны тоже были насквозь. Поэтому охота кончилась, не начавшись. До берега около километра. Безотказный «японец» не завёлся,

потому что обрывки рыбацкой сетки намотались на вал, да ещё и шпонка полетела. Угребался на вёслах. Слава богу, ветер был не встречный, а полупопутный. От брызг всё покрылось льдом – лодка, вёсла, штаны, куртка ниже пояса, перчатки превратились в два ледяных комка; чтоб не отморозить пальцы, одну руку обмотал тряпкой, на другую надел запасную вязаную шапку... Ускрёбся. По приезду спрятал мокрый криминал в старом шкафу, куда жена не заглядывает.

Всё хорошо, но настоящий охотник должен возвращаться домой не с мокрыми штанами, а с вязанкой уток. К тому же новый глаз оказался неиспытанным.

И я стал молиться. После первых моих атеистических молитв погода потеплела, повалил снег, термометр стал колебаться между нулём и небольшим минусом. После повторных молитв позвонил ещё один приятель и позвал на охоту. И не на надувных лодках, а на крепком катере с мощным мотором. Мелкие протоки между островами, сказал, уже затянуло льдом толщиной в палец, и катеру придётся исполнять роль ледокола.

День прекрасный, солнце сияет, вода блестит, катер несётся вдоль острова, красавец-селезень из камышей взлетает, я, стоящий на носу, бах – он падает. С первого выстрела! У следующего острова ещё один взлетает, дуплет – и этот падает. Вот это глаз мне поставили! Когда появляется ледяное поле, приятель разгоняет скорость и начинает крушить лёд носом лодки, а я раскачиваю катер с боку на бок. Но вот мотор выдохся, остановились. Включаем задний ход, отъезжаем, снова даём газу до отказа, и ледокольно пробиваемся на чистую воду. Снова летим вдоль островных камышей, снова селезень хлопает крыльями. В общем, стрелял я с новым глазом, как тexasский ковбой в голливудских фильмах. Так что теперь на весенней охоте никто не станет орать: дед, нехороший человек, прячься – гуси летят!

*ПОЭЗИЯ*

**Мария Борухова**

## СТИХОТВОРЕНИЯ

\*\*\*

В опасной близости трамвая  
Пространство словно две черты.  
Здесь мыслей линия кривая  
Скользит в объятья пустоты.

Черты лица размыто-стёрты.  
На рельсах тускло-серый лёд.  
В туннеле сдавленной аорты

Не кровь течёт, а пряный мёд.

Иголка входит в ткань беспечно.  
Струна взрывает полный зал.  
Жизнь для людей не бесконечна.  
Мир для людей предельно мал.

\*\*\*

Я хотела бы чувствовать Город.  
Ощущать его воздух и цвет.  
Но по-прежнему поднятый ворот.  
И по-прежнему города нет.

Есть трамваи, машины и лица,  
Светофор, магазин за углом.  
Есть подъезд и вязальная спица.  
Только с Городом – полный облом.

Всё пространство немислимо сжато.  
Даже время – как глиняный шар.  
Может быть, этот Город когда-то  
Навсегда уничтожил пожар?

\*\*\*

В пустоте твоей тёмной квартиры,  
где безделье сродни мастерству,  
где под звуки расстроенной лиры  
носит ветер сухую листву,  
я прилягу на жёсткий диванчик,  
на минуту закрою глаза,  
вспомню жёлтый цветок одуванчик,  
на котором сидит стрекоза.

Вспомню удочки, рыбу в ведёрке,  
вспомню слёзы, костры и песок;  
не ловились тогда краснопёрки  
и камыш был не слишком высок.  
Не забылись сомненья и лица,  
разговоры, обиды и ложь.  
Но теперь мне не скоро приснится  
то, что ты на себя не похож.

В пустоте твоей тёмной квартиры,  
где на окнах решётки и грязь,

на компьютере мыслей пунктиры  
 помогают поддерживать связь.  
 Пусть тебе одиноко и пусто,  
 ты твердишь, что убита любовь, —  
 твоё сердце сжимают до хруста  
 самолюбие, ревность и кровь.

### **Солнечный камень.**

Брызги солнечного света  
 Превращаются в янтарь:  
 Это огненного лета  
 Дар возложен на алтарь.

Муравей на жёлтом фоне,  
 главный житель янтаря,  
 восседает, как на троне —  
 жизнь его прошла не зря.

Словно золотом расшитый  
 в янтаре застыл цветок  
 с головою непокрытой,  
 без лица, без рук, без ног.

Не разгадана загадка,  
 что таит в себе янтарь,  
 чуть растерянно, но гладко  
 стих читает пономарь.

\*\*\*

*Посвящается г. Краснодару*

Мне уютно в чужих городах.  
 Я люблю опустевшие парки,  
 Где фасады, карнизы и арки  
 Отражаются в сонных прудах...

Мне уютно ходить босиком  
 По асфальту заброшенных улиц,  
 Где дома мне слегка улыбнулись —  
 Облик их мне невнятно-знаком...

Мне уютно в созвездии лиц

Создавать неделимые связи  
 Из сатина, атласа и бязи...  
 И из шерсти – при помощи спиц.

Мне уютно в пространстве окна  
 Наблюдать превращения света,  
 Где оконная рама одета,  
 Как невеста, в фату из сукна...

Отражения в сонных прудах  
 Растворяют сомнений узоры:  
 Вместо гор могут быть только горы...  
 Мне уютно в чужих городах.

\*\*\*

Слова опустошают чувства,  
 ты их меж строчек не лови,  
 когда-то мудрый Заратустра  
 слагал легенды о любви.

Сыграй на мне, как на гитаре!  
 Заставь все струны хором петь.  
 Пчела купается в нектаре,  
 Боясь куда-то не успеть.

А в смерти прячется искусство,  
 Во мраке тают фонари.  
 Слова опустошают чувства.  
 Мне ничего не говори.

\*\*\*

*Татьяне Иосифовне Кан*

Пробравшись в душу, нервно плачет  
 Загадочная нота «ми».  
 Быть может, это что-то значит.  
 А время близится к семи.

Но где простор? И где молитва?  
 Ты крест свой бережно неси!  
 Мне режет душу, словно бритва,  
 Натянутая нота «си».



Моя гармония двулика:  
Любовь и смерть, мечта и боль.  
А счастья малая толика  
Сокрыта в тихой ноте «соль»...

\*\*\*

Связаны временем. И расстоянием.  
Ты не терзай меня слов написанием.  
Мы не расстанемся. Мы не заблудимся.  
Только со временем мы позабудемся.

Ты забывай меня. С радостью, с нежностью.  
Южными звёздами. Утренней свежестью.  
Стану я мёдом, корицей и золотом.  
Ты покидай меня в мире расколотом.

Солью становятся чувства под пальцами.  
Жизнь вышиваю, не пользуясь пяльцами.  
Скорость предельная. Дрожь покаяния.  
Связаны временем. И расстоянием.

\*\*\*

Запрет на сон. Запрет на воду.  
Неровным светом бьёт в глаза.  
Пытаясь обрести свободу,  
Крыло ломает стрекоза.

Ты проклинал мою беспечность.  
Я ревновала, не любя...  
Тянулось время в бесконечность –  
Я не смогла спасти тебя.

И я прощаться не училась.  
А, уходя, включала газ.  
Прости меня, мне всё приснилось.  
Забудь меня в последний раз.

Внутри – трагедия свободы:  
Во мне смешались гнев и боль.  
Великой мудростью природы  
Все чувства стали цифрой ноль.

\*\*\*

*Тому, кто подарил мне Киев*

Есть в Киеве дороги и дома,  
Больниц стареющих незапертые двери...  
Там тихо бродят Пётр и Фома  
С рассказами о верности и вере.

Мощёных улиц призрачная суть  
Крадётся сквозь каштановые корни...  
Мир под асфальтом силится уснуть,  
Внимая несмолкающей валторне.

Есть в Киеве лекарства от тоски.  
В гостиницах и парках дремлет вечность.  
Здесь будущее давит на виски.  
А прошлое уходит в бесконечность.

### **Точка прозрачности**

Ехать в трамвае. К тебе, от тебя.  
Ночью плутать в лабиринтах дворовых,  
Ниточку смысла в руке теребя  
В век мандаринов и листьев кленовых.

Ты вспоминал меня? Верил? Любил?  
Было ли это предчувствием чуда?  
Склеить не вышло. И ты раздробил  
Веру, которую продал Иуда.

Ложь неизменно бывает слепа.  
Гордость – нелепа, а хитрость – банальна.  
Прошлая жизнь – будто снега крупа:  
Быстро растает. Светло и печально.

Поздно. Окно. Занавеска. Стена.  
Тысячи стен – отголоски забвенья.  
Точка прозрачности. Где же она?  
В поиске нежности, сна и сомненья.

\*\*\*

С неба падают птицы.  
А люди всё строят дома.

И растут сыновей,  
И деревья сажают живые.

Но меняется время.  
И лето сменяет зима.  
Тусклый месяц февраль  
Получает свои чаевые.

С неба падают птицы.  
А в реках течет молоко.  
И сиреневый снег  
Углубляет немое пространство.

Вечный смысл бытия  
Никому не даётся легко.  
Во дворах фонари  
Пробуждают в душе христианство.

С неба падают птицы,  
С полей не срывают цветы.  
И летит мотылек  
Над горящей свечой восковою.

Пролетают минуты,  
А мы переходим на «ты».  
С неба падают птицы.  
Они не проснутся весной.

\*\*\*

Если ты не вернешься,  
я буду смотреть из окна  
на заброшенный дом  
и на месяц, подвешенный к небу,  
на потоки машин  
и на серый кусок полотна,  
на солёную корку  
засохшего черного хлеба.

Я доверилась Богу  
и, дав Ему руку свою,  
о тебе помолюсь  
и забуду на долгие годы.  
Только сердце погаснет,  
как искра в смертельном бою,

как кленовый листок,  
опустившийся в темную воду.

\*\*\*

Где-то есть незнакомые улицы,  
Где-то есть поезда уходящие,  
Стоит лишь на минуту зажмуриться  
И поймешь, что они – настоящие.  
Где-то море волнуется черное,  
Где-то радость сменяется верою  
И глубокое озеро горное  
Нужно мерить особою мерою.  
Мы не помним ни сны, ни пророчества,  
Мы живем над пространством и временем,  
Где-то рядом живет одиночество,  
Мы его побеждаем смирением.

*ПРОЗА*

**Валерий Кремер**

## **МИНИАТЮРЫ**

**Берёза**

Берёза была красива, как все берёзы – с белоснежной шелковистой кожей, с кудрями зелёных листьев.

Шёл мимо человек и залюбовался: «Какая красавица!» Нежно погладил её ладонью, прижался горячей щекой к её стволу.

Берёза стояла счастливая. Казалось, весь лес шумит радостно: «Какая красавица!» И стало страшно ей, что оборвется счастье, уйдёт человек. Опустила она ветви и крепко обняла, обвила ими человека. Так крепко, как только могла.

Почувствовал человек, что стал он пленником, рванулся изо всей силы и освободился.

Упали на траву обломленные ветви.

Берёза смотрела вслед человеку и плакала от боли.

Услышал ветер её плач, прижал голову берёзы к своей прохладной груди и сказал: «Не вини человека. Тебе показалось, что он похож на тебя, сможет стать деревом и расти рядом. А он больше похож на меня. Хоть гвоздями его к себе приколачивай – всё равно душа его улетит, если захочет».

Берёза плакала, ветер гладил её вздрагивающие ветки и утешал, как мог. Человек уходил по лесу всё дальше и дальше.

## Вокзал

Я был совсем молод, зелено молод и приходил сюда с девушками. Здесь можно было целоваться на перроне сколько душе угодно – никто не обращал внимания: люди прощаются.

Однажды я пришёл сюда один, сам не зная почему, и увидел её, стоящую у вагона с дорожной сумкой.

Я думал, она ждёт кого-то, и смотрел на неё, любясь, сразу поняв, что это она, та самая. Я ощущал только одно, глядя на неё, – удивление. Всё тонуло в этом чувстве, остальное мгновенно утратило всякое значение.

Она тоже смотрела на меня, а потом, когда объявили отправление поезда, улыбнулась и сделала движение, как будто хотела подойти ко мне, но передумала и вошла в вагон.

Она сразу встала у окна, и мы опять смотрели в глаза друг другу, пока поезд не тронулся.

Я стоял на опустевшем перроне и вдруг понял, что она ждала меня, ждала, что я подойду к ней, и теперь я остался один.

Я бросился к расписанию узнать, что это был за поезд, и целый месяц встречал его, надеясь, что она возвратится.

Но этого не случилось.

За это время я полюбил вокзал, его оживление, пестроту, гомон, а главное – обещание чего-то лучшего, таинственного, настоящего впереди.

Теперь, когда мне становится невыносимо в своем жизненном колесе, я всё бросаю и иду сюда. Мне легко в этом человеческом муравейнике. Я здесь – песчинка, выпавшая из часов и наблюдающая сквозь стекло, как другие песчинки струятся в едином потоке, направление которого задано чужой рукой.

Рука перевернёт часы – и песчинки потекут в противоположную сторону.

А я здесь – остановившаяся песчинка.

Сию, листая купленный в киоске случайный журнал, думаю, о чём хочу, выхожу на перрон, чтобы снова окунуться в атмосферу прощаний и встреч, недосказанностей, надежд, иллюзий. И опять кажется, что в неведомом где-то есть неведомое что-то, единственное, настоящее.

Иногда даже верится, что в одном из поездов сейчас приедет она.

Потом время моего побега истекает, я возвращаюсь, впрыгиваю в своё колесо и через несколько минут опять становлюсь частью, необходимой для его вращения.

До следующего побега.

## Дождь

– Ну что ты? – говорит он, глядя, как капли дождя скользят по её застывшему от боли лицу. – Что ты? Ну не везёт пока, но всё равно это будет. Летом или осенью сорвёмся куда-нибудь в деревню, в глушь, в тундру, где совсем никого, только мы. Прорвёмся. Только не раскисай. У нас ещё много всего будет, правда?

Он осторожно кладёт руку ей на плечо, чтобы хоть немного её боли перетекло в него.

Дождь застиг их врасплох. У них нет зонта, они промокли насквозь, но не уходят под навес, где теснятся человек пятнадцать, ожидающих троллейбуса. Они стоят под дождём, и им кажется, что он, хоть ненадолго, может отделить, укрыть их от всех.

– Да, всё ещё будет когда-нибудь, обязательно будет, – говорит она, — но что у нас сейчас, что? Сейчас, не через десять лет, не в тундре, а сегодня, здесь?

– А сейчас у нас дождь. Один на двоих, – отвечает он, улыбнувшись.

Но она не улыбается ему в ответ. Потому что это правда.

Что у них сейчас, кроме дождя? Что у них, кроме дождя, стучащего по крышам? Что, кроме жестяного голоса прощания?

– Ну почему, почему, – говорит она, зажмурив от отчаяния глаза, – почему так нужно, чтобы люди находили друг друга уже связанными по рукам и ногам, чтобы они продирались сквозь кольцо любопытных и враждебных взглядов, чтобы они тащили за собой свою прошлую жизнь, словно чугунные гири? Почему нигде нельзя укрыться, почему нужно мокнуть под дождём, чтобы глядеть в глаза друг другу? Почему нельзя без другого человека? Почему?

Он молча целует её в морщинку боли между бровями, и лицо её светлеет.

– Почему я не могу без тебя, – говорит она тихо и улыбается. – Почему мне с тобой так хорошо?

– Потому, – говорит он, – потому что потому. И всегда будет потому.

Он смотрит на часы.

– Уже?

– Уже. И давно уже.

– Тогда до завтра.

Она входит в первый из двух подъехавших к остановке троллейбусов.

Он входит во второй.

У троллейбусов разные номера, но сначала они едут друг за другом. Правда, недолго. До первого перекрестка. Потом первый сворачивает, а второй идёт прямо.

## Мост

Когда человек ступил на мост, ветер пропел о неудаче.  
 – Неправда! – крикнул человек. – Я перейду!  
 – Глупый, – ласково потрепал его по щеке ветер прохладной рукой, – ну иди, иди, если решил.  
 Мост был шатким. Перил нет. Доски прогнили.  
 Внизу шумела река.  
 – Перейду, – сказал человек. – Всем назло перейду.  
 И сделал ещё два шага.  
 Доска под ним тревожно скрипнула.  
 Он замер. Снова налетел ветер. Обнял за плечи.  
 – Ну, – давай по-серьёзному, дурачок. Дался тебе этот другой берег. Думаешь, другой, так и совсем другой? Такой же, как и этот. Абсолютно. Зато в реке искупаться можешь запросто. Вода холоднющая, бр-р-р... Плавать-то умеешь? А если головой о камень?  
 Человек повёл плечами, сбрасывая руки ветра, и сделал ещё два шага.  
 Нога скользнула. Он потерял равновесие, но устоял. Холодок пробежал по спине. Ноги напряглись. Будто приросли к доскам.  
 Ничего. Уже почти на середине. Другой берег – он и есть другой. Он легко сделал несколько шагов и прошёл середину моста. Оглянулся. Что там ветер шептал? Где он, ветер?  
 – Я не буду тебя останавливать. Ты всё равно не дойдёшь.  
 – Нет. Надо идти. Ведь мост – это каждый шаг как первый.  
 Видишь, ветер, я иду. И берег уже близок. Другой берег.

### Утренний крик

Он проснулся оттого, что закричал петух. Как всегда – горласто и страстно, как будто хотел доказать миру, что без его крика жить невозможно. Сон исчез, он полежал немного в приятной полудрёме и начал планировать начинавшийся день. Впрочем, планировать особенно было нечего, отпуск в благодатном южном краю не предполагал особого делового напряжения. В окно заглядывали листья вишни, трепетавшие от утреннего ветерка, налетавшего порывами. Он заметил, что зелень листьев уже начинала блекнуть: июльское солнце делало своё дело.

Жена спала рядом. Было жарко, и она отвернулась от него, откинув одеяло. Её красивая грудь немного приоткрылась из-под ночной рубашки, нежно-розовый сосок был похож на неожиданно открывшуюся ягоду на ветке в лесу. Господи, как же я её люблю, подумал он с неожиданной печалью, в этом чувстве не было радости, а только тоска и боязнь потери.

Стараясь не разбудить жену, он осторожно откинул одеяло, встал. Пол был холодным, он вздрогнул, когда коснулся его босыми ногами. Почему-то стало тревожно. Как бы оставить это утро таким, неожиданно подумал он, чтобы ничего не менялось, чтобы жена так безмятежно спала рядом, была так трогательно беззащитна и красива. И он вдруг понял, что это невозможно,

ворвётся что-то необъяснимое, страшное, и всё поменяется. Всё. Настолько, что исправить всё происшедшее и вернуться в это безмятежное утро будет невозможно.

И он заплакал. Громко, навзрыд. Жена проснулась, удивлённо взглянула на него.

– Что ты? Что случилось?

– Ничего. Я просто тебя люблю. Очень.

– Какой ты у меня глупый, – сказала жена. – Напугал меня, дурачок.

Она обняла его. Сердце сжалось от счастья. Так бы и лежал, подумал он, всю жизнь.

### **Пересекающий площадь**

Я шёл от Ольги. Была глубокая ночь или, может быть, уже предутрие – поздней осенью трудно понять, особенно если небо в тучах, а часы остановились, все три стрелки замерли у цифры «12».

Звук моих шагов гулко раздавался в колодезном, зияющем безмолвии, когда из-за туч вдруг вынырнула полная луна и площадь, которую я начал пересекать, антрацитово высветилась.

От неожиданности я остановился и почувствовал себя замершим, застывшим, словно муха в янтаре, в этой вязкой полночи, что длилась и длилась.

Из-за дождя я задержался у Ольги дольше обычного. Она была рада этому и всё повторяла:

– Ну, куда ты пойдёшь? Куда? Видишь – дождь! – и ещё сильнее сжимала мои плечи.

Мы стояли в коридоре у выхода во двор, дверь была открыта, и я слышал, что капли за спиной падают реже и реже. Дождь кончался.

– Ну, подожди ещё минуту, одну минуту! Тебе что, жалко для меня одной минуты?

Ольга будто чувствовала, что это в последний раз, что я так решил, хотя и не сказал ей.

– Ты же знаешь, что мне для тебя ничего не жалко, просто нужно домой.

Я боялся, что она заплачет, и тогда я вообще не смогу уйти, но Ольга не заплакала.

– Ладно, иди, раз нужно.

Она опустила руки, и я, бросив обычное «счастливо», отправился домой. Мне и ходьбы-то было минут десять – только площадь перейти.

Я торопился, зная, что родители не уснут, пока я не вернусь, будут ворочаться, вставать, смотреть на часы. Они не скажут мне ни слова укора, но по запаху корвалолола на кухне я понимал, чего им стоят мои ночные прогулки.



Я спешил домой и думал: вот умерло и это, как всё, что рождается. Всё без исключения. Но каждый мой шаг перечёркивал слово «смерть», я ощущал внутри огромную силу, вырывающуюся на волю.

И теперь, остановившись среди ночи на этой освещённой луной площади, я будто увидел себя со стороны, тысячи раз пересекавшим её. Здесь, на этом самом месте я кормил голубей хлебными крошками, гулял с бабушкой, играл в футбол, бросив на асфальт школьный портфель вместо штанги; упал, катаясь на велосипеде, и разбил колено; топтался, краснея от волнения, когда впервые назначил свидание однокласснице. А сколько раз я пересекал эту площадь в праздничной колонне? Пересекал, но разве пересёк когда-нибудь? И разве это умерло или одно вытеснило другое, если всё осталось жить в моей душе?

Наступал день, и одна из женщин на время затмевала всех остальных, но когда мы сближались и я узнавал её до мельчайших особенностей, до последней крохотной родинки, всё начинало таять, умирать, и остановить это было невозможно.

Звезда падала и становилась горячим камнем на ладони, стремительно остывающим камнем.

И теперь я вспомнил их всех и понял, что они – во мне, я их всех любил. Ничто не умерло и не умрёт никогда, потому что смерти нет, а есть только вечное движение жаждущей силы. И сейчас где-то ждёт меня женщина-звезда, желанная, мерцающая, живущая своей таинственной жизнью. Она вдруг вспыхивает рядом, и её можно коснуться, услышать горячий шёпот, слова, летящие только тебе и никому больше.

И я понял, что меня ведёт жажда. Жажда полноты слияния с жизнью. Жажда стать собой и стать всем. Жажда осуществления вопреки всему.

Эта площадь – взлетная полоса. Я спешу по ней в попытке взлететь, оторваться от асфальта. Скорость всё нарастает, и когда открываешь глаза и снова видишь асфальт, трудно понять: ты уже приземлился или ещё не взлетал? Откуда эта вечная жажда неба? От того, что был там когда-то или всё ещё не был?

А может быть, и небо – всего лишь площадь, над которой другое небо, и нет ничего, кроме жажды полёта, и нужно пронзать небо за небом, нанизывая их на острие жажды, совпадая всё время лишь с полетом и шепча: «Ввысь, ввысь!»

### **Две кошки вечером без тебя**

Ты не смогла со мной встретиться, и день тянулся, как неделя. Всё, за что я ни принимался, валилось из рук, потому что внутри билось: сегодня – нет. Это было время, когда я хотел видеть тебя постоянно, смотреть в твои глаза, которые называл звёздными, касаться твоих рук.

Ближе к вечеру я вышел из дома и отправился всё равно куда, лишь бы двигаться, лишь бы что-то отвлекало меня от мыслей о тебе.

Я сидел на скамейке в городском парке, попав будто в самый центр небывало тёплой осени.

С высоких деревьев медленно падали почти в ладони разноцветные листья, и я подумал: жаль, что ты не сидишь рядом и не видишь этих прощальных то ли полётов, то ли танцев.

Вдруг ко мне на колени прыгнула неизвестно откуда взявшаяся кошка. Сначала я принял её за мою домашнюю кошку, но, приглядевшись, понял, что нет, не она, хотя такая же трёхцветная и с умными зелёными глазами, но чёрные, рыжие и белые пятна расположены по-другому, и хвост не такой пушистый. А у моей хвост, как у белки.

– Что тебе? – спросил я её. – У меня нет никакой еды.

Она смотрела мне прямо в глаза, как будто говорила: «Возьми меня с собой».

Я заметил, что она немного дрожит, прижал её к себе, начал гладить голову и спину.

Кошка довольно заурчала и вдруг стала лизать мне шею и щеку.

Я слегка отодвинул её и сказал:

– Дурочка, я не могу взять тебя с собой. У меня уже есть такая же трёхцветная кошка. Ты опоздала. Она вышла ко мне заблудившимся котёнком и прожила со мной почти всю свою кошачью жизнь. Как же я приведу тебя? Она обидится. Да ещё, глядишь, побьёт тебя. Не хватало мне только кошачьих драк в доме.

Кошка посмотрела на меня печальным взглядом, будто всё поняла, прыгнула с колен и исчезла в сумерках.

Становилось всё темнее и темнее. Я посидел ещё немного со смутным чувством вины и пошёл домой.

Моя любимица встречала меня, распушив свой беличий хвост. Едва я сел на диван, сразу прыгнула на колени и, словно что-то почувствовав, внимательно смотрела в глаза.

– Не бойся, – сказал я, – никаких других кошек дома не будет. Ты – единственная.

Она лизнула мне руку, что одновременно могло быть и благодарностью, и приглашением на кухню. Мы отправились к холодильнику. Я вскрыл банку сардин, покупаемых специально для неё – её любимую еду. Ну, если не считать ещё белое куриное мясо. Она привыкла, что я кормил её, как кошачью принцессу.

Потом я сидел на диване и думал о тебе, а моя кошка разлеглась в кресле, уже отвернувшись от меня.

– Все вы такие, кошки, – сказал я, – ласкаетесь, когда хотите есть, а насытитесь – и снова сами по себе, никто вам не нужен.

А потом вспомнил кошку из парка и подумал, что у людей так часто бывает: встречаешь человека, который нужен тебе как жизнь, а быть с ним не можешь, потому что он уже крепко-накрепко связан с другими людьми и должен о них заботиться.

Почему эта кошка прыгнула на колени именно ко мне? Ведь рядом со мной и на скамейке напротив сидело много разных людей, у которых могло не быть трёхцветной кошки. Возможно, она почувствовала мою тоску по тебе и нежность, пульсирующую в мир помимо моей воли?

Или ей не нужны были эти люди, смотревшие на меня как на сумасшедшего, потому что я разговаривал с кошкой, будто она человек и всё понимает?

Я подошёл к окну, и звёзды взглянули на меня твоими глазами.

– Знаете, – сказал я звёздам, – завтра я обязательно расскажу ей эту историю о двух кошках, ведь завтра мы точно встретимся, даже если мир перевернётся вверх ногами.

### **Вместе с небом**

Он проснулся, как обычно, в пять утра от звона вываливаемых в железный мусорный ящик разбитых бутылок.

Ящик, выкрашенный неприятной коричневой краской, стоял как раз напротив окон двухэтажки, в которой он жил с родителями и маленькой сестрой.

Его угораздило прожить шесть лет во дворе винзавода в самом центре провинциального города.

Так получилось, и он принял это, как принимал всё в жизни, необъяснимой в деталях, но понятной в самом главном: он жил на свете, и это было ежедневным чудом.

За прожитые шесть лет он обнаружил, что совершенно не похож на других людей, но очень хорошо понимает их и принимает с их чудачествами и неповторимостью.

Винзавод казался ему таинственным местом, отчасти так и было: основная жизнь предприятия протекала под асфальтом, внизу. Туда вели ступени.

Однажды он спустился вниз из-за спора с девочкой, которая жила в его дворе. Она дразнила его трусом и слабаком. Он сошёл по лестнице в таинственное подземелье, прислушиваясь к голосам, доносившимся из глубины, и стараясь зажать страх в кулаке.

– Ну, что там? – спросила девочка, когда он вылез из подземелья.

– Мужики в кожаных фартуках катают бочки с вином.

– И всё?

– И всё.

Слово «вино» казалось волшебным. Бочки по подъёмнику поднимались снизу, и грузчики устанавливали их в стройные ряды. Однажды выбило пробку у одной из бочек, и грузчик вместо того, чтобы заткнуть дыру, припал к бьющей ввысь струе, долго хлебал фонтаном взлетающий сброженный сок, пока его не оттащило от бочки начальство. Он вырвался, страшно заматерился, сплясал вприсядку, упал и заснул.

– Увольте, – сказал мужчина в чёрном костюме, стряхивая с себя брызги шипучей жидкости.

Сила вина была понятна мальчику. Она сбивала с ног, укладывала здоровенных мужчин на асфальт в самых нелепых позах. Как на поле сражения.

Рядом с мальчиком жили его родственники: тёти, дяди – в квартирах по соседству. Как деревенские жители попали в город, и именно сюда, на винзавод? Непонятно. Но он это принимал, как всё, что не могло быть иначе. Только так.

Муж тёти Поли, дворничихи, был жутким алкоголиком, так его все называли. И навсегда отпечатались в памяти мальчика картина, соответствующая этому определению:

– Поля! – кричали со двора, – уноси мужа, а то лошади проехать не могут.

Поля шла к воротам, закидывала руку мужа на плечо и волокла его домой. Ноги у него цеплялись за всё, что попадалось. Она дёргала его и кричала:

– Чтоб те пропасть, урод!

Потом затаскивала его по лестнице домой. И вытирала пот со лба.

Однажды мальчик забежал к ним после очередной доставки семейного груза, что-то надо было спросить. Она погладила его по голове и сказала:

– Ты такой хороший, просто ангелочек, никогда не пей, видишь, какая это яма, страшная яма!

И заплакала.

Был ещё второй подъёмник из подземелья, транспортёр, по которому двигались ящики с вином. Их грузили на телеги и увозили. Поэтому во дворе всегда были лошади.

Сначала он их боялся. Обходил как можно дальше. Но однажды возница, лысый весёлый мужик, явно уже принявший бодрящий напиток, поманил его пальцем и сказал:

– Дитёнок, иди сюда, иди. Не бойся. Лошадка смиренная. Погладь.

Мальчик погладил лошадиный бок. Кожа была тугая, как на сапоге, но мягкая.

– Сахар есть дома?

Он сбегал за сахаром. Поднёс ладонь с кусочками рафинада к губам лошади. Она слизнула их. Руке стало щекотно, он засмеялся. И вдруг увидел тёмные внимательные глаза лошади, она смотрела на него, как человек. Потом кивнула головой, как будто говоря: «Спасибо».

– Ты лошадей не бойся, малый, – сказал возничий, – они добрее людей. Это я тебе точно говорю. Запомни.

У мальчика было место. Его место. В углу двора, где стены домов выстраивались в колодец. Здесь был закуток, где женщины вешали бельё, свободный от бочек и ящиков, ничейная земля. Клочок свободного пространства.

Он сел на перекладину железной лестницы, ведущей на крышу. Читал книги про партизан (а читал он с пяти лет), мечтал, думал, и понял, что думать обо всём, что придёт в голову, не менее интересно, чем читать или стучать мячом в стену. Ведь вообще-то он мечтал стать футболистом и защищать ворота сборной страны.

Большие мальчишки, жившие во дворе, загорали на крыше. Загорелые до черноты, с руками в синяках и ссадинах, с облезлыми от беспощадного солнца носами, они поднимались по железной лестнице на крышу и ложились, бросив под спину полотенце, чтобы не обжечься о раскалённое железо.

Он тоже хотел туда. Взбирался медленно, осторожно держась за железные прутья лестницы, равнялся с крышей, горячей в лучах солнца красным пламенем, и не мог отпустить край лестницы, выпрямиться и шагнуть на крышу. Было страшно. На секунду нужно было остаться наедине с высотой, не держась ни за что. И ступить на крышу.

– Ссыкун, – кричали мальчишки. – Иди сюда! Не бойся!

Но он не мог этого сделать. Быстро билось сердце, перехватывало дыхание. Он был уверен, что сорвётся.

Он медленно спускался по лестнице, держась дрожащими руками за холодное железо и принимал очередное поражение так же, как принимал всё окружавшее его – без боли и отчаянья.

Но сегодня всё было по-другому. Родители ещё спали. В шесть они встанут и поедут на завод.

Он вышел во двор и почувствовал, что один. Не просто физически один – то есть никого вокруг, а вообще один. Всегда был один и всегда быть одному. Один на один с небом. С жизнью. И вдруг страх исчез. Он понял, что сейчас может сделать всё, что угодно, ничего не боясь. Ничто не сковывало его.

Он подошёл к лестнице. Быстро поднялся. Вот и крыша. Страх не было. Он опустил руки и даже поднял их вверх. Шагнул. Он на крыше. Вот и всё. Он лёг, чувствуя спиной ещё не горячее, слегка тёплое железо. Над ним было небо. Необычное, широкое, слепящее. Робкие облака медленно передвигались по огромному голубому пространству.

«Вот я и вместе с небом, – вдруг подумал он. – Вместе с небом...»

*ПУБЛИЦИСТИКА*

**Иван Васильцов**

**«И КТО-ТО КАМЕНЬ ПОЛОЖИЛ...»**

*Послеюбилейные раздумья об одной букве Михаила Лермонтова*

В лермонтовский год как не сказать о Лермонтове!

И вроде бы принимаешься корить себя, коли не успеваешь к сроку со статьёй или всякой прочей «ведческой» выкладкой, не можешь, одним словом, поучаствовать хоть каким-то боком в юбилейных торжествах, обсуждениях, эфирах. Хоть строчку бы привести в живом журнале из «Мцыри», застолбить хотя бы свободный микрофон на диалоговой площадке. «Михаил Юрьевич *достаточно репрезентативен*», – улыбнулся при мне недавно один неплохо, кажется, знающий историю Лермонтова чиновник от литературы. И правда, шутка ли – двести лет со дня рождения.

Но чем ближе подходишь к строкам Михаила Юрьевича, чем пристальнее вглядываешься в его торопкий карандашик ли, в его неуловимый ли уголёк, в дорожные ли, как он сам любил говорить, «бумаги», тем осознаннее затягиваешь паузу. Молчишь пред именем и пред самим образом поэта, неловко оправдываясь то неотложной занятостью, то «скопкой материала», то осенней простудной хандрой. И всё это до тех ровно пор, пока не приходишь к одному вполне закономерному вопросу: а что я, собственно, знаю и знаю ли вообще хоть что-то о Лермонтове?

И не о выделенном специальным параграфом «творческом пути» речь, не о «духовных исканиях» и уж, разумеется, не о художественном методе, страничка о котором обычно бывает с особенным тщанием заломанной в учебных книгах или хрестоматиях. Задумываешься волей-неволей всего лишь о слове Лермонтова, всего лишь о слоге Лермонтова, всего лишь о букве Лермонтова. О букве – в буквальном смысле. И задумываясь хоть чуть, разводишь в стороны руки. «В небесах торжественно и чудно». Какие могучие умы в Лермонтовской, примером, энциклопедии склонялись над одною этой строкою. Какой самоотверженный и горящий благородным огнём исследовательский подвиг совершали Эйхенбаум, Мануйлов, Пахомов, Иванова, Андреев, Кривич, Толстая, Прокопенко, осваивая наследие поэта. Целые судьбы, целые жизни отдавались его гению! А он, доживший на свете до светлых окошек пятигорского домика («Ветки цветущих черешен смотрят мне в окна, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками»), снова и снова подходит в нашем воображении с улыбкой к подножию Машука. И мы – в который уж раз! – стучимся сердцем в голограмму былого, в надежде стать ближе к поэту, в порыве узнать от него что-то новое – о нём самом, о нас и о мире. Как изъяснился в «Истории русской словесности» критик старой доброй школы Пётр Николаевич Полевой, «Лермонтов остаётся загадкою». (Полевой же приводит редкий рассказ очевидца о похоронах поэта: «Человек 10-12 приятелей, военные в мундирах, невоенные во фраках... понесли гроб на могилу. Над гробом священник прочитал молитву. Когда стали опускать гроб, оказалось, что он не может войти в боковую пещеру... тогда какой-то стоявший вблизи черкес спрыгнул в могилу и кинжалом пооббил землю»).

С таким вот решительным не-знанием Лермонтова, с багажом вопрошаний и сомнений, с неумолчной мыслью о том, куда же всё-таки канул он, надгробный камень с именем «Михаил», я и решаюсь приблизиться к одному лермонтовскому слову, что сложено, в свой черёд, из одной буквы.

В стихотворении «Нищий», начертанном карандашом на клочке серой бумаги в Троице-Сергиевой Лавре, поставлен самый, быть может, значимый во всей русской поэзии союз:

*Всего лишь хлеба он просил,  
И взор являл живую муку  
И кто-то камень положил  
В его протянутую руку.*  
(Выделено мною. – И. В.)

Известно, что Елизавета Алексеевна Арсеньева, бабушка поэта по материнской линии, летом 1830 года совершила пешее паломничество к Троице, дабы отслужить молебен по трагически погибшему брату. С ней отправился в семидесятикилометровый путь и Лермонтов. Сегодня даже в простом школьном словаре крылатых слов можно подробно прочитать об обстоятельствах создания этого шедевра, о просящем милостыню бедняке, о том, как обидели нищего злые шутники, но он простил их: «Пошли вам Бог счастья, добрые господа; а вот наемдн... насмеялись надо мною: наложили полную чашечку камушков. Бог с ними!» Даже младшие школьники знают, пожалуй, что знаменитая лермонтовская строка про камень, вложенный в ожидающую вспоможения ладонь, обозначает в переносном смысле обман надежды, неоправдавшиеся ожидания, всякую разочарованность.

Но вот вопрос: почему поэт выбирает сочинительный союз «и» вместо очевидно напрашивающегося здесь противительного «но». Так ведь логичнее, законченнее по мысли. Нищий ждёт подаяния, надеется на помощь людскую, но злой чьей-то волей не обретает желаемого, более того – получает злую насмешку в виде камня. Он ждал, *но* не дождался. Он надеялся и верил, *но* был жестоко обманут. Одни камни заполнили протянутый судьбе сосуд.

Подсказывает оправданность противительного слова и заключение стиха, когда автор проводит едва ли не наивную, по-юношески запальчивую, во всяком случае, параллель между примером мировой скорби и личной, личностной разочарованностью в любовном чувстве. «Так и я, подобно тому нищему, – как бы говорит он читателю, – «с слезами горькими, с тоскою» надеялся на ответ, но дождался только насмешки». Хороший, выдающийся художник захватил бы в речестроительный оборот, скорее всего, именно противление, а не соединение. Да только не гениальный Лермонтов!

Отказываясь, по-видимому, интуитивно, от очевидной словесной выборки, шестнадцатилетний юноша отказывается и от очевидного исхода мысли, нечаянно являя вековую мудрость. В святых пределах Троице-Сергиевой Лавры он полагается на небесное провидение в языке, доверяясь неведомому порыву. Это как раз не тот ли случай, когда вырван грешный человеческий язык, и пророк начинает взывать к людям на языке нечеловеческом, высшем, горнем. Лермонтов вкладывает в строку, в одну только служащую, раболепную обыкновенно частичку речи колоссальный опыт свободного духовного прозрения. Может быть, мгновенного, рождённого вспышкой невидимых слёз, а вполне может стать, и годы – или

века! – прораставшего, подобно зерну, в его душе и сердце. Ещё до рождения.

«И кто-то камень положил // В его протянутую руку». Мы видим никогда не улыбающегося глазами Печорина за этим неземным по силе чувственного и мыслительного воздействия «и»; мы узнаём «пустую и глупую шутку» и – до мурашек на коже – ощущаем «холодное вниманье» авторского (сказать разочарованного, значит, не сказать ничего) взгляда; мы через боль и стыд слышим лермонтовское прощание с «немытой Россией». Решение спора писал или не писал великий поэт убийственно правдивых строк в последний год своей жизни, просвечивающих, всё равно как лучами рентгена, российскую действительность насквозь, кроется не здесь ли тоже, в единственном, единственно возможном для Лермонтова «и»? «И кто-то камень положил». То есть, произошло привычное, вполне ходовое в свете. Камень вместо души – обычен, обман вместо правды – обыден, жестокость вместо жалости – обиходна. Если уж на то пошло, то стилистическое да и космическое звучание созданного в Троице-Сергиевой лавре шедевра в одном абсолютно ряду с восьмистишием-приговором-прощанием. И не пристало нам торопливо и неклюже отрешиваться от печали неустроенного, нелепого нашего русского лада. Не пристало подправлять Лермонтова, отказывая ему в праве на горестный постскрипtum. Ведь за эту самую бесприютную печаль, как признался известный европейский философ, было бы не жаль отдать ему всё благополучное счастье запада...

Одиннадцать лет минет, а будто и не выпускал Лермонтов из руки того карандашика, что был взят по случаю, но оставил след в духовной истории России навеки.

« – Насовсем – это как понимать? – спросит герой нового времени, очередной лишний человек, вампиловский Виктор Зилон, уходящую из дому жену и словно бы вместе с тем уходящую из остывающего сердца целого ни во что не верящего поколения жизнь. – Навеки, навсегда, так, что ли?» Получается, так... Раз уж суждено было пробежать руке Лермонтова по неровному листу, то насовсем запечатлелось оно, слово поэта, каким бы безысходным ни было. Не ставя кафедру проповедника, а смиренно становясь коленями перед стулом и едва поспевая бисерным почерком за гласом свыше («Нищий» был написан именно так, бегло), Лермонтов как будто бы из Нагорной проповеди забирает неисчерпаемо многомерный образ. И двадцатому, и двадцать первому веку достались вместе с лермонтовским камнем в наследие не очень-то подходящие к торжествам и никак не вписывающиеся в позитив раздумья. Но не всё одна грусть и разочарованность сосредоточены в пророческой лермонтовской букве. Как порою, в поздние осенние ночи, угадывается за тёмно-серой пеленой клочковатых туч звёздное бездонное небо, так и за поэтической скрепой открываются, приоткрываются, вернее, будущие, будущные смыслы.

В стихотворении «Нищий» есть, кажется мне, то, чего нет там. До поры нет. Что каждый из нас, читателей, не хочет или не может, не умеет до времени замечать. Неназванное, не заявленное напрямую авторское



устремление, возможно, не ясное и самому автору. Сильнейшее камня, драгоценнейшее золота. Всё равно как если бы закрытые глаза распахнулись, прозревая, навстречу свету. Всё равно как родной голос разбудил бы тебя бережным словом. В нём есть вера. Пускай тяжко ложится в чашу судеб наших обман, пускай самое беззащитное чувство в мире – любовь – подвергается насмешкам и обряжается в шутовские блёстки, пускай мы теряем себя где-то по дороге... А просящий-то всё одно протягивает свой избитый сосуд, веря в помощь – человеческую и божескую. И настанет правда, и сильнее всего оказывается любящее сердце, и ты находишь силы в себе – собою оставаться. Весь Лермонтов, весь его неразъемлемый с небом миропорядок, что «светлей лазури», сказывается здесь совершенно. И уже не «с холодным вниманьем» смотрит поэт из своего отстранённо-романтического далёка, а с жаром сочувствия и соучастия. Не могло быть лишено крыльев веры родившееся в Троице-Сергиевой лавре слово.

Два века прошло со дня рождения Михаила Лермонтова. А деревянная растрескавшаяся чашечка и по теперь цела, становясь всё больше похожей на чашу вселенских весов. Что победит? Что перевесит?

Вчера только пересказал студентам, далёким, впрочем, от словесности, историю «Нищего», упомянул и Сушкову, назвав её случайно Александрой. И вот одна девушка меня поправляет: Екатерина, её звали Екатерина Сушкова. А ещё, представляете, говорит, если я, мол, не знаю, то Лермонтов посвящал стихотворные надписи А. К.Воронцовой-Дашковой и А. М. Верещагиной. Оказывается, моя отличница-первокурсница успела побывать в Тарханах.

То было моё самое счастливое в жизни незнание. И я вдруг подумал: а в чашечку-то и чистое – без цены – злато, случается, падает.

Литературный альманах «Впечатления»

Редактор – Виктор Бирюлин

Контактный телефон: 8-927-110-48-39

Дизайн обложки – Владимир Мошников

Тексты для публикации принимаются  
по электронной почте: [victor.biryulin@yandex.ru](mailto:victor.biryulin@yandex.ru)  
Присланные материалы не рецензируются